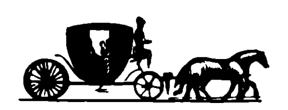
Раиса Орлова

ХЕМИНГУЭЙ В РОССИИ



Раиса Орлова

ХЕМИНГУЭЙ В РОССИИ

Роман длиною в полстолетия

Ardis, Ann Arbor

Printed in the United States of America

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Orlova, R. D. (Raisa Davydovna)
[Ernest Kheminguei v Rossii]

1. Hemingway, Ernest, 1899-1961—Censorship.
2. Hemingway, Ernest, 1899-1961—Translations,
Russian. 3. Hemingway, Ernest, 1899-1961—Appreciation—
Soviet Union. 4. Criticism—Soviet Union. I. Title.
PS3515.E37Z749 1985 813'.52 85-15680
ISBN 0-88233-749-1
ISBN 0-88233-861-7 (alk. paper)

ЛЬВУ

I

Он так и не побывал у нас. Хотя еще в 1935 году писал И. Кашкину: "Я *приеду* в Москву, мы подберем людей, знающих толк в вине и *пропьем* мой гонорар". Ему же в 1939 году: "Мне очень хочется повидать Вас и побывать в СССР". К. Симонову в 1946 году: "Всю эту войну надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза".

В последние годы жизни говорил С. Микояну и другим журналистам, посещавшим его на Кубе, что собирается приехать. Не как турист, не в делегации, не как почетный гость, — приехать, чтобы повидать друзей, поохотиться, половить рыбу...

Он не приехал.

Но его книги, легенда о нем, его взгляд на мир, запечатленный в новом слове о мире, пришли в нашу страну. И остались...

За пятьдесят лет[1] Хемингуэя у нас издавали и запрещали, ему поклонялись и его обличали, превозносили и разочаровывались. История взаимоотношений с ним, исполненная крутых поворотов, подчас горько иронических, тесно связана с историей нашего общества, нашего самосознания, нашей литературы.

Это еще и неотъемлемая часть биографии моих старших и младших современников и моей собственной.

С 1974 года я начала обращаться к советским писателям с вопросом: "Какую роль в Вашей жизни сыграла американская литература?"

Юрий Домбровский ответил:[2]

Кто открыл для меня действительно новые горизонты — это Э. Хемингуэй. Я понял, прочитав его, главное: литература была покорена русской прозой — психологическим реализмом таких титанов как Л. Толстой, Ф. Достоевский и А. Чехов — но она казалась не только вершиной, но и концом психологической прозы в том смысле, что дальше идти уже некуда. В какой-то степени это и было так, но только в отношении текста, а пришел Э. Х. и открыл то, что давно знали актеры и некоторые драматурги (например, Шекспир и Шелли), но никогда не знали писатели — подтекст — и это открыло

новые необозримые горизонты. Я думаю, что хотим мы или не хотим, а мы все, даже и полностью отвергающие этого великого мастера как Набоков[3] или критики nouveau roman, пользуемся в той или иной мере (чаще всего незаметно для нас) его методом и его достижениями".

Поэт *Давид Самойлов:*

Для нас американская литература как образцовая начала сознаваться через Хемингуэя, который лет 15-20 был чуть ли не самым любимым писателем. Это место Хемингуэй занял в тридцатые годы. И утратил, вытесненный Томасом Манном, Фолкнером, отчасти Кафкой, которого мы долго знали лишь понаслышке.

Видимо, ни одного из названных писателей мы не полюбили с той силой, с какой любили Хемингуэя, который нам представлялся еще и образцом современного характера. Однако, первое место он, как будто, утратил. И его литературное влияние на нашу прозу сменилось влиянием Сэлинджера... Хемингуэй и Сэлинджер, как мне кажется, оказали наиболее различимое влияние на стиль нашей литературной речи, оттуда — на нашу речь и самоощущение. И таким образом и на другие стороны нашей жизни, на понятие о личной свободе, например, и через это на поэзию.

Множество советских прозаиков пыталось копировать хемингуэевские диалоги, писать рублеными, короткими фразами, вычеркивать прилагательные.

Быть может, гораздо важнее то, что книгами Хемингуэя в души входило понятие о личной свободе, что он казался образцом современного характера.

Произведения Хемингуэя были встречены американскими критиками как новое *объективное* слово о мире; но и тогда некоторые литераторы считали его романтиком (американец Шервуд Андерсен, итальянец Марио Прас, француз Андре Моруа, немец Густав Реглер).

Любовь к нему в нашей стране была любовью романтической.

Увлечение Хемингуэем несколько напоминает русский байронизм XIX века.[4]

В двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия появился целый поток русских поэм и романов в байроническом духе. И тогда можно было не только прочитать строки, навеянные английским поэтом, но и встретить

"байронического" героя на улицах Москвы, Петербурга, провинциальных городов России, встретить в салоне, в дворянском собрании, в гвардейском полку.

Подобно прадедам, накидывавшим гарольдов плащ, советские читатели тянулись к далекому Хемингуэю; привлекал не только и не столько литературный стиль, сколько поведение героев, его собственные поступки.

II. ХЕМИНГУЭЙ НАЧИНАЕТСЯ

На протяжении XIX — и начала XX веков не было, пожалуй, ни одного крупного писателя в мировой литературе, который сразу же не становился бы достоянием русских читателей.

Знать все ценное, важное, новое, созданное в других странах, *творчески усваивать*, перерабатывать, включать в свой мир новоприобретенное, отбрасывая чуждое, — деятели русского просвещения, известные и неизвестные, прославленные мастера слова, критики, переводчики, издатели, педагоги отдавали этому силы, таланты.

Так возник русский Байрон, русский Шекспир, русский Диккенс, русские Гете и Шиллер, русская "Хижина дяди Тома", русские "Отверженные", русский Ибсен, русские Ницше и Метерлинк.

Гиганты XIX века от Пушкина до Чехова родились не в замкнутости, не в отгороженности, а в распахнутости, во "всемирной отзывчивости" (Достоевский). В свою очередь они питали и теперь питают мировую литературу. В том числе — и Хемингуэя.

Максуэлл Гайсмар утверждал, что "проблемы Хемингуэя скорее русские,[5] чем американские". Хоть это и преувеличение, но Хемингуэй действительно возвращался на ту почву, которая была одним из источников его творчества. В двадцатые годы русское искусство было богато поразительными талантами, — поэзия Пастернака, Маяковского, Хлебникова, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, проза Булгакова, Зощенко, Бабеля, театр Мейерхольда, живо-

пись Фалька, Петрова-Водкина, Малевича, Кандинского, универсальный гений Эйзенштейна. И опять же не в замкнутости: именно тогда к читателям приходили не только революционные художники Запада, но книги Фрейда, Франса, Стефана Цвейга, Андре Жида, Гамсуна, Пруста, Келлермана, Хаксли, Мориака...

В 1928 году Горький рекомендовал ГИЗУ книги Хемингуэя.[6] Журнал"Читатель и писатель" напечатал рассказ "Боксер" в плохом переводе с французского. В "Вестнике иностранной литературы" — первое сообщение о книге "Мужчины без женщин".

В 1929 году журнал "На литературном посту" (№№ 11-12), опубликовал статью американского коммуниста Майкла Голда "Поэт белых воротничков".

Творчество Хемингуэя — это лазейка, через которую его читатель пытается спастись от жизни, это новый вид "башни из слоновой кости", появившийся в Америке... Читателю снится Европа в безответственном изображении Хемингуэя... Он играет роль рассказчика сентиментальных сказочек... Он всегда убегает от чего-нибудь, а не идет вперед.

Так — о творчестве. А вот как о человеке: "...бессердечен и сух... Закоренелый эгоист..."

Значительная часть статьи посвящена "социальной базе" неведомого писателя и, соответственно, взглядам: выражал интересы мелких буржуа (а не крупной буржуазии и не пролетариата); герои, — их позиции, поступки, слова, — попросту отождествлялись с автором.

Творчество Хемингуэя еще не было известно, но проработка уже началась.

Все, что писал Голд, как нельзя более подходило журналу "На посту", который был едва ли не самым догматически-агрессивным по отношению ко всему "чуждому", инакому.

Рапповцы постоянно нападали на тех, кого они называли "внутренними эмигрантами" или, в лучшем случае, "попутчиками" — на Ахматову, Пастернака, Волошина, К. Федина, Вс. Иванова, Ю. Олешу и многих других.

Шел год великого перелома. Многое переламывалось

и в деревне, и в духовной жизни страны, в ее литературе.

В 1932 году РАПП распустили. "На литпосту" закрыли. Отношение к попутчикам колебалось. Книги иностранных писателей не революционеров продолжали издаваться.

К. Радек в докладе на первом съезде писателей "Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства" признавал, что "литература загнивающего капитализма в состоянии еще в известных областях, у известных наций, на известных участках дать произведения большого искусства". "В сочинениях ряда писателей можно видеть, что эти процессы /колебаний — Р. О./ глубоко честные, глубоко идейные, заслуживающие полного нашего сочувствия и дружественного нашего вмешательства для их ускорения".

Имя Хемингуэя в докладе названо не было — к счастью для его дальнейшей судьбы у нас. Но примерно так говорили о нем те, кто готовили переводы, и позже — исследования.

В 1934 году в журналах "30 дней", "За рубежом", "Интернациональная литература" появились его рассказы. И сборник "Смерть после полудня". Составитель, редактор и автор вступительной статьи Иван Кашкин. Переводчики — Н. Георгиевская, Н. Волжина, Н. Дарузес, А. Елеонская, Е. Калашникова, Л. Кислова, Е. Романова, И. Романович,[7] В. Топер, О. Холмская. В сборник включены рассказы из трех книг: "В наше время" (1924), "Мужчины без женщин" (1927), "Победитель не получает ничего" (1933). Из книги "Смерть после полудня" (1932) в советском сборнике — только заглавие. Обложка из грубого картона цвета плохого кофе. (Впрочем, тогда еще кофе у нас почти никто не пил.) Бедная страна, бедная полиграфия. Слово "СМЕРТЬ" красными прописными буквами, "ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ" — черными. Бык. Красная мулета. Красное и черное — кровь и смерть. Красное можно толковать и как цвет революции — наивная символика тех лет.

Рукопись сдана в набор 8 августа, вскоре после Первого съезда писателей. Подписана к печати 8 декабря. Через неделю после убийства Кирова. Тираж — 8 тысяч экземпляров.[8]

На фронтисписе — фотография: красивый, улыбающийся, фатоватый молодой человек с усиками. Белая рубашка, галстук в крапинку, черный пиджак. У нас тогда почти никто так не одевался.

В статье "Помни о..."[9] Кашкин не забывает отметитить: "...одевается безукоризненно, галстук на месте". Безукоризненность одежды и галстук — тоже своеобразные символы тех лет, отрицательные знаки чужого мира.

Вступительная статья — увертюра. Настройка читательского сознания.

Неизвестный писатель представлен с любовью. О своих чувствах Кашкин проговаривается редко, скупо, быть может, и этим ему близок Хемингуэй. Но предисловие, как и переводы, пронизаны эмоциональным зарядом, который помог критику войти самому и ввести читателей в особый, необжитой, отчасти еще недоступный мир.

Кашкин первым сделал множество тонких наблюдений; они не устарели и сегодня. Понятия "контуженности жизнью". Мысли о повторяющихся лейтмотивах. Анализ рассказа "Белые слоны". "В лучших своих вещах он добивается дорогой простоты, заключающей в себе сложность, а порою и хорошей сложности, дорастающей до простоты".

Временами автор статей сам становится не критиком, а прозаиком: Хемингуэй "...чувствует мир, как тяжесть форели на конце лесы", или "...он пилит горло деревяшкой своих суховато сдержанных фраз и делает это с потрясающей художественной силой".

Позже Кашкин сформулировал свое, — писательское — отношение к переводу: "Переводить надо только то, чего не можешь не переводить". Это был принцип, — как и любой человек, сам он не всегда ему следовал. Но Хемингуэя он безусловно не мог не переводить.[10]

Однако и Кашкин, больше всех сделавший для Хемингуэя в Росии, сам отдавал дань господствовавшему мышлению, господствовавшему языку. Едва ли не за каждым добрым словом во вступительной статье следовали оговорки, а то и обличения: "Со страниц Хемингуэя глядело самое уродливое и страшное в человеке... уклонение от

больших социальных проблем остается дезертирством... Тематика последней книги Хемингуэя — болезненная. Это паноптикум уродств и извращений". Кончается статья так:

Горько и поучительно читать Хемингуэя. Его проблемы — ведь это проблемы того, как буржуазная машина-автомат из добротного человеческого материала вырабатывает мастерски изготовленный, искусно замаскированный человеческий брак: писателя, мастера, сдержанного джентльмена, человека с трещиной.

Как и большинство советских критиков той поры, Кашкин разглядывает писателя с некой вышки, с которой ему-то самому все видно и все ясно. Очень часты словосочетания "узкий", "ограниченный", "обособленный", "малый мирок".

Иван Кашкин разделял веру в "МЫ"—не в замятинском понимании. Разделял как норматив эпохи и профессионально: ведь перевод каждого рассказа обсуждался совместно.

На титуле: "Перевод первого переводческого коллектива. Состав, редакция и вступительная статья И. Кашкина".

Коллектив и Хемингуэй. Таково время.

Приобщиться к "МЫ" стремился и сам Хемингуэй.

Сначала это было элитарное "мы" — участники войны, потерянное поколение, герои романов "Фиеста" и "Прощай, оружие". Члены содружества, братства, верные единому кодексу поведения. Посторонним доступа нет.

Ему в этой замкнутой ложе становилось душновато. В тридцатые годы он, как и многие интеллигенты Запада, ищет более широкое "мы". И, ему кажется, обретает: "Время, когда мы думали, что республика в Испании победит, было счастливейшим в наших жизнях". МЫ, НАШИХ, — такое у Хемингуэя не часто.

В шестидесятые годы, — в иное время, в иных обстоятельствах, — молодые американцы вновь начали искать "мы" — создавать содружества, communuties. Искать раз-

ные виды причастности — от малых коммун до массовых организаций, демонстраций, походов. Сегодня и это время стало прошлым. О нем одни вспоминают с ностальгией, другие — с удивлением, третьи — возмущенно. *Мы* в тридцатые годы реальное и идеальное представилось чаще всего на советский лад.[11]

Потребность, свойственная многим — хоть когда-нибудь, хоть несколько минут в день побыть одному, стала расматриваться едва ли не как символ враждебности, во всяком случае — отторженности, отщепенства. Английское понятие "privacy" — отделенность и комнаты, и души, — нельзя точно перевести на русский.

Острее, больнее всего это ощутили интеллигенты. Ощущали те, кто — в науке ли, в искусстве ли не могли, в самом буквальном смысле слова, — ничего делать, ничего создать, не могли состояться без уединения.

В СССР происходило насильственное устроение "МЫ" принудительная общность коммунальных квартир, колхозов, казармы, тюрьмы, лагеря. И бескорыстное, добровольное, охватившее массы стремление, — быть со всеми заодно. Страх *не* шагать в ногу соседствовал и соперничал со страхом перед тюрьмой.

"Человек один не может..." — на все лады победно цитировали у нас предсмертные слова Гарри Моргана, героя романа "Иметь и не иметь".

Но и НЕ ОДИН человек не может, — так тоже отзывался Хемингуэй во многих душах.

Советские читатели погружались с утерянными либо неведомыми ощущениями в хемингуэевский мир одиноких людей.[12] Счастье возникало, возможно, и по принципу дополнительности. "Какими вы не будете" (варианты: где вы не будете, как вы не будете) — названием одного из его ранних рассказов можно описать состояние советского человека в тридцатые годы. Хотя осозналось это и много времени спустя.

Иван Кашкин усмотрел у любимого писателя глубокие душевные изъяны. Реальные и мнимые.

Но было и другое: первая книга, да еще непохожая ни на одну предшествующую, проходит в печать с трудом. Особенно у нас.

За выход такой книги требовалась "плата". Необходимым стало обругать писателя, "отмежеваться", вписать

в статьи оговорки (либо соглашаться с оговорками, вписанными тебе).

Часть советских литераторов восприняла эту необходимость как нечто непреложное. Как непременное условие игры. Оправдывая это "высшими" соображениями, либо вовсе отбрасывая нравственные оценки поступков.

Другие (и Кашкин, вероятно, был среди них), тоже принимали необходимость, но понимали, что это дурно. И поэтому выполняли требования с трудом.

Начало вырабатываться двойное сознание, столь усовершенствованное, расцветшее позже. Множились носители двойного сознания — циники.

Некоторые литераторы вообще не могли "платить". Их перестали печатать, либо они сами устранились от печати.

Фразы вроде "трупного запаха" естественно отталкивают. Но без определенной временем дани книги Хемингуэя могли и совсем не выйти...

Кашкин собрал талантливых, молодых людей для работы над переводами "джентльмена с трещиной". Они стали своеобразными служителями культа. А время все меньше и меньше мирилось с соперничающими культами.

Участники собирались не в издательстве, а в комнатах коммунальных квартир — отдельных еще почти ни у кого не было, — спорили о каждом слове, искали русские эквиваленты, нещадно критиковали друг друга.

Они готовили русского Хемингуэя.[13] И добились издания.

В 1935 году появляется "Фиеста".[14] В 1936 году — "Прощай, оружие" в переводе Евгении Калашниковой. В 1939 г. — "Пятая колонна" и первые тридцать восемь рассказов" (в подлиннике — 49 рассказов. Часть из них была раньше опубликована в сборнике 34-го года, а часть — много лет спустя).

Всем книгам надо было добывать "пропуска", т.е. делать множество оговорок.

Однако любовь и понимание возвышались над оговорками.

* * *

Что было общего у друзей моей юности, бездумных, уверенных в единственно правильном пути к великой,

единственно правильной цели с молодыми героями потерянного поколения? Разве, вот тоже пили вино. Целовались. Многие реалии хемингуэевского мира — "бар", "яхта", "бой быков", "сафари", — нам почти ничего не говорили — может быть и потому притягивали. Смерть — абстрактное понятие, — ведь еще почти никто не умирал. Жизнь казалась беспредельной. Да и первая война, — древняя история. Для нас точкой отсчета был не четырнадцатый, а семнадцатый год.

Начинала, как всегда, когда влюблялась в писателя, отождествлять себя с его героинями. Брет? Никакая я не Брет. Уж скорей Кэтрин Баркли. Только я не боюсь ни дождя, ни смерти, ни родов. Мой муж тоже будет подходить к родильному дому, будет ночью смотреть в бинокль, — мальчик или девочка! И вернемся мы домой втроем, он не уйдет один под дождь.

Но, разве я могу, подобно Кэтрин, замкнуться в личном? Ни за что! Буду учиться, работать, строить новый мир.

С детства хотела путешествовать. И мечтала о Париже — не только благодаря французам, но и благодаря Хемингуэю. В Париж никто вокруг меня не едет и не поедет. И я не поеду.

Читаю наши газеты, читаю Хемингуэя, — прошусь в Испанию. Тщетно. Меня не берут.

Это все — внешний слой. Хемингуэй входил глубже. В бессознательное. Туда, где мне, — ох, сколького не хватало. Где я была нищей по сравнению с Кэтрин. Не умела грустить. Не умела задумываться.

Твердила Блока:

На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне...

Но видеть ужас не умела. А ужаса вблизи было больше, чем рядом с Хемингуэем. Взглянув, не могла не отвернуться.

С романтическими героями и героинями не сосуществуешь, — на них взираешь издали, — возмущаешься ли, любуешься ли, но издали. Они в ином измерении.

* * *

Вступительная статья Кашкина к первому сборнику появилась (в несколько измененном виде) под названием "Трагедия творчества" в английском издании "Интернациональной литературы" в мае 1935 года. Хемингуэй, получив номер журнала ответил сразу же. Он, пристрастный, нередко несправедливый к своим американским интерпретаторам, благодарил русского. И спорил. Он хотел понять своего далекого оппонента.

В 1935 году начался диалог через океан. О назначении писателя.

Хотя первые письма шли отчасти мимо друг друга.

Американец был свободен, ответственен перед собой. Русский был многим ограничен, связан. Он — советский гражданин — писал личное письмо иностранцу, когда подобная переписка уже возбуждала подозрения. Он писал на чужом языке, сам подчеркивая, что это ведет "не только к неверно написанным словам, но и неверно изложенным мыслям".

Он не знал, как начать, потому первая фраза на удивление длинна: "Многоуважаемый сэр, или мистер Хемингуэй, или, быть может, дорогой товарищ!"

Так к нему еще никто не обращался.

Тем поразительнее, что диалог состоялся. Обмен. Спор. Изложение позиций.

С идеями революции, с языком революционной литературы Хемингуэй впервые столкнулся не в статьях из далекой России. О том же, что и Кашкин, и почти теми же словами тогда начинали говорить в самой Америке не только коммунисты. Так в те годы писали и люди иных политических взглядов из близкого окружения писателя. Например, талантливый критик Мальком Каули. И ругали похоже: "Эти рассказы — скорее материал для психатрии, чем для литературной критики", Гренвилл Хикс.

Перемены, происходящие в Америке и в мире, побудили и Хемингуэя, хотя и сомневаясь, и оглядываясь, стремиться навстречу людям. И вот, пришла его книга, статья о нем, письмо ему из советской России. Где люди объединились в "МЫ". Кашкин — часть "МЫ".

Была в первом письме из СССР деловая часть: состав первого сборника, извинение за странное название.[15] Каш-

кин признавался, что его письмо не выражает восторгов, это — попытка понимания (или непонимания). Хемингуэй на это живо откликается: "Мне не комплименты нужны, а то, что меня может чему-нибудь научить. Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь, только этого мне и надо. Каким я при этом кажусь, не имеет значения",[16] — не без кокетства. Ему всегда было важно, каким он казался. Но — явно менее важно, чем быть понятым.

Кашкин сообщает, что к его собственному удивлению даже массовый советский читатель проявил к книге американского писателя "дружеский, хотя и сдержанный интерес. Причины сдержанности очевидны. Вся система, в которой мы живем, наша психология существенно отличаются от того, что знакомо Вам...".

Видимо, Кашкин еще не знал, какой несдержанный интерес проявляли к новой книге Хемингуэя многие и многие его земляки.[17]

Советский критик тогда вряд ли знал статью своего английского коллеги Сэвиджа, утверждавшего, что Хемингуэй вносит в литературу ПРОЛЕТАРИЗАЦИЮ: опыт обыкновенных людей, обыкновенных чувств, обыкновенных отношений, — все под его пером достойно искусства. Эту же мысль повторил итальянский критик Марио Прас, объясняя большое воздействие американца в Италии. (Поскольку это влияние пришлось на годы войны, не могло ли оно сказаться на зарождении неореализма?)

И. Кашкин, как и многие советские критики после него, пытался отстраниться от Хемингуэя, пытался объяснить, доказать, насколько он, Хемингуэй, — "не наш". Но, вместе с тысячами читателей, вопреки подсказкам лукавого разума, читатели ощущали, а лучшие критики выражали, — насколько он до боли *наш...*

Подчеркну еще раз: в начале *переписки* не было. Однако, корреспонденты словно отвечают друг другу: "Теперь все стараются запугать тебя, — пишет Хемингуэй, — заявляя устно или письменно, что если ты не станешь коммунистом или не воспримешь марксистской точки зрения, то у тебя не будет друзей и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному — это нечто ужасное, или что не иметь друзей страшно. (Эти слова звучат так,

будто автор обращается не только к почти незнакомому русскому, но и к себе. Себя заклинает. — Р. О.).

Я не могу быть сейчас коммунистом, потому что я верю только в одно: в свободу".

Он говорит о *том* и *так*, о чем и как говорил и до заочной встречи с советским переводчиком и многократно позже, в частности, в Нобелевской речи 1954 года. Но именно в письме, посланном в СССР, ему надо было столь развернуто выразить декларацию писательской независимости: "...В какие бы времена я ни жил, я всегда смог бы о себе позаботиться, конечно, если бы меня не убили. Писатель — он что цыган. Он ничем не обязан любому правительству. И хороший писатель никогда не будет доволен существующим правительством, он непременно поднимет голос против властей, а рука их всегда будет давить его. С той минуты, как вплотную сталкиваешься с любой бюрократией, уже не можешь не возненавидеть ее. Потому что, как только она достигнет определенного масштаба, она становится несправедливой.

Писатель смотрит со стороны, как цыган. Сознавать свою классовую принадлежность он может при ограниченном таланте. А если таланта у него достаточно, все классы — его достояние. Он черпает отовсюду, и то, что он создает, становится всеобщим достоянием". В этом рассуждении — явная полемика с Голдом.

Какими крамольными должны были казаться эти строки летом 1935 года в Москве. И как необходимы они были тогда. Но узнали их лишь двадцать семь лет спустя. Когда и у нас уже говорили, писали и, даже (очень редко) печатали нечто подобное.[18]

Из общей декларации Хемингуэй делает и частный вывод, отвечая на заключительный абзац статьи "Трагедия творчества": "Так вот, если вы думаете, что такие взгляды грозят опустошенностью и делают из личности человеческий брак, то, по-моему, вы не правы".

В письмах Кашкина, как и в статьях, видны любовь, интерес, ничем не сдержанный, и явное желание установить истинно человеческий контакт. Это заметно и в строках делового отчета — что переводит он сам и его коллеги (список внушительный и, в значительной мере — осуществленный. За исключением, пожалуй, романа Фолкнера "Святилище", насколько мне известно, не переведенного

до сих пор, и книги Олдоса Хаксли "Прекрасный новый мир").

Он настойчиво просит прислать книги, — у него лишь одна собственная, подаренная Дос Пассосом книга Хемингуэя. А он хочет не только переводить новые, но и перечитывать старые.

Во втором письме того же 35-го года, ответном, Кашкин не упоминает хемингуэевской декларации. Хотя, видимо, исходит из нее, обращаясь: "Дорогой враг!"

Второе письмо несколько суше по тону, чем первое.

Кашкин исполнил просьбу: передал Мальро[19] через Эренбурга, что, по мнению Хемингуэя, роман Мальро "Условия человеческого существования" — лучшая книга последнего десятилетия. Таким образом замкнулся круг братства: американец, русский, француз. Рекомендовал прочитать книги советских писателей — Горького, Шолохова, Бабеля.[20] Сожалел, что повести об охоте М. Пришвина и Н. Тихонова не изданы в США. Спрашивал, встречался ли Хемингуэй с Ильфом и Петровым. Просил послать фотографию.

Шел год тридцать седьмой — частная переписка с заграницей вовсе прекратилась.

Хемингуэй, вернувшийся на месяц из Испании в США, застал у себя журнал "Интернациональная литература" с новой статьей Кашкина "Сила в пустоте". В письме главному редактору С. Динамову[21] Хемингуэй выражал надежду, что "...еще удастся некоторое время давать повод Кашкину пересматривать окончательную редакцию моей биографии".[22]

Он именно тогда действительно "давал поводы", — написал "Пятую колонну". А Иван Александрович пересматривал. Насколько позволяли обстоятельства.

В конце 38-го года И. Кашкин снова пишет в Ки Уэст. Сообщает о составе новой книги. Размышляет о структуре американского сборника. Делится своими намерениями.

Хемингуэй сразу же отвечает. Письма из России ему необходимы. Сколько людей написали бы ему, если бы знали об этом... Если бы смели...

Очень горько, что Хемингуэй так мало узнал о той любви, о том восхищении, которыми были окружены его книги у нас.

15 ноября 1939 года Лидия Чуковская записывает

в дневник: Анна Ахматова прочитала "книгу, которую я принесла ей в прошлый раз — "Смерть после полудня" Хемингуэя. Я рассказала ей, что Митя[23] случайно раскрыл эту книгу на прилавке у букиниста, зачитался, пришел в восторг и купил — никогда прежде не слыша имени автора.

— Да, большой писатель, — сказала Анна Андреевна".

* * *

Передавая добрые пожелания "всем товарищам, участвовавшим в переводе сборника, Хемингуэй поясняет: "Товарищ — это слово, о котором я теперь знаю много больше, чем когда писал Вам в первый раз".

"Теперь" — после Испании.

Он рассказывал о своей работе в те месяцы. Писал "По ком звонит колокол". Просил далекого корреспондента: "Пожелайте мне удачи, дружище!" Кончил рассказ "Никто никогда не умирает", но предупреждал: не надо переводить по журнальной публикации, надо ждать авторских гранок. Советским читателям пришлось ждать двадцать лет — рассказ был опубликован в журнале "Огонек" в 1959 г. (№30).

Кашкин назвал свое письмо "Рукопожатие через океан".[24] Так оно и было воспринято. Хемингуэй кончал это последнее письмо подтверждением все той же своей декларации независимости: "Единственное, что надо делать совершенно самостоятельно... это писать".

* * *

Несколько раз о Хемингуэе писали советские прозаики, в частности — Андрей Платонов.

У Платонова с ним есть и общие черты — оба ощущали самый дар жизни, как нечто едва ли не священное. Оба глядели в глаза смерти — и, хотя держались совершенно по-разному, — не опускали взгляд. В одном из военных очерков Платонов пишет о том, как "нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его". *Это* и *так* — почти так, мог бы сказать и Хемингуэй.

Хемингуэй — особенно в молодости — не выносил чужого страдания. Платонов погружался в страдание,

растворяясь в нем, — его преодолевал.

Великий американец восторженно вкушал славу и горестно ощущал в конце жизни ее убывание. Платонов повторял слова Наполеона: "Слава — это солнце мертвых". И действительно не дожил до ее восхода.

В статье "Навстречу людям" (о романах "Прощай, оружие" и "Иметь и не иметь") Платонов говорит о поисках человеческого достоинства, о том, как Хемингуэй стремится "...открыть истинного, то есть не истязающего себя и других человека, притом нашего современника... Хемингуэй предполагает, что для такого человека не нужно ничего особо возвышенного, вдохновенного, ничего лишнего, пошлого, а также нарочито прекрасного или чего-нибудь чрезвычайного в смысле характера: все трудно осуществимое не должно мешать происхождению этого человека...

Этику Хемингуэй часто превращает в эстетику; ему кажется, что непосредственное, прямое, открытое изображение торжества добра или героического начала в людях и в их отношениях отдает сентиментализмом, некоторым вульгарным дурным вкусом, немужественной слабостью...

Он хочет доказать этическое в человеке, но стыдится из художественных соображений назвать его своим именем и ради беспристрастия, ради сугубой доказательности и объективности, ведет изложение чисто эстетическими средствами..."[25]

Платонов, следуя традиции русской литературы, искал человеческое достоинство по-иному. Для него этика была выше эстетики. Впрочем, в результате возникла иная эстетика.

В 1928 году был написан "Чевенгур" и отвергнут как произведение "контрреволюционное".[26] Повесть "Впрок", напечатанная в журнале "Красная новь" в 1931 году обсуждалась и была осуждена на Политбюро; на полях журнала — грубые пометки Сталина. Частично эти пометки вошли в статью А. Фадеева "Об одной кулацкой хронике".[27]

Платонов стал критиком. Стал и потому, что ему, подобно многим писателям, хотелось поделиться размышлениями о литературе и о жизни, но и потому, что его прозу не публиковали (даже рассказ "Фро", ныне включаемый во все антологии, впервые появился в журнале "Литературный критик", в котором прозы вообще не

печатали).

Но у Хемингуэя с Платоновым больше черт различия, чем сходства. В душе Платонова не было ничего от человека из "стана богатых", подобно герою рассказа "В снегах Килиманджаро". Ему не надо было вытеснять тягу к богатству. Близкими для него всегда были люди из низов. О герое книги "Иметь и не иметь" Платонов пишет: "В натуре Гарри не было качеств современного пролетарского человека". Это для Платонова — нечто сокровенно важное. Он не дожил года до повести "Старик и море".

Хемингуэя притягивала сила. Он писал о сильных мужчинах, о чемпионах и сам старался быть чемпионом во всем; зная, что победитель не получает ничего, всегда хотел побеждать. Платонов боялся победителей. Он назвал одну из статей о Хемингуэе "Горе безоружным", но сам-то своих героев не вооружал ничем, кроме милосердия. Платонов всегда с побежденными, со странными, увечными, слабыми. Может быть, его привлек Хемингуэй по контрасту? Может быть, именно ему было дано почувствовать родственную мягкость, слабость, скрытую в самой природе силы героев американского писателя?

Заголовок одной из статей Платонова о далеком американце — "Разрушение хижины одинокого человека".[28]

Он верил в социализм как в человеческое братство. Но сам уже показывал, что получается-то не братство, а страшный котлован... Платонов, наиболее крупный советский писатель из обращавшихся к Хемингуэю, в стилистике ему не подражал.

Платонов создал мир, в котором его самого словно и не существует. Мир Хемингуэя насквозь лиричен. То скрыто, то открыто автобиографичен.

Слово Платонова противостоит слову Хемингуэя. Платонов погружает читателя в подспудные слои жизни, все глубже, все неотвратимее. Его речь корява, фразы длинные, очень длинные, но их ни в коем случае нельзя рубить, укорачивать, следуя канонам Хемингуэя. Они и не могут стать изящнее.

Впрочем, сам Платонов, особенно в рассказах последних лет стремился к иной прозе, не похожей на свою, прежнюю. Хемингуэй для него, кроме всего прочего, был еще и подтверждением, — иная проза существует.

Платонов хотел "писать напрямую", высказывать

все до конца (иногда нес при этом художественные потери). Для Хемингуэя главный закон — закон айсберга. Оба испытывали муки невыразимости, — несоответствие слов ощущениям. Один пытался преодолеть это сдержанностью, сжатием, вплоть до знаков: выразительностью пауз.

Другой — "выбросом", невероятными языковыми сплавами, нагнетанием. Эти "антихемингуэевские" особенности Платонова нисколько не помешали ему стать теперь одним из главных писателей для своих соотечественников. Начал он завоевывать и чужие земли.

Платонов, — при его глубинном тяготении к Хемингуэю и другим иностранным писателям находил свое, не заемное, русское слово о современности.

Судьбы Платонова и Хемингуэя в нашей критике оказались близкими: в статье Л. Ивановой сопоставлены заголовки критических статей о Платонове тех лет с заголовками статей шестидесятых годов. 30-е годы: "Разоблачители социализма: о подпильнячках". "Пасквиль на колхозную деревню", "Порочная философия", "Фальшивый гуманизм", "Клеветнический рассказ А. Платонова". 60-е годы: "Добрый талант", "Искусство видеть мир", "Песнь о щедром человеке", "По законам красоты", "Редкостный талант"...[29]

Как похоже на изменения заголовков статей о Хемингуэе.

30-е годы: "Трупный запах", "Трагедия одиночества", "Замкнутый мир", "Трагедия пацифизма", "Сила в пустоте", "Проповедь одичания и империалистического разбоя"... 60-е годы: "Наперекор отчаянию и смерти", "Нашедший дорогу к сердцам", "Писатель с мировым голосом", "Неизменная совесть", "Человека нельзя победить", "Короткая, прекрасная жизнь"... Впрочем, эти названия шестидесятых годов применялись отнюдь не только к Платонову и Хемингуэю. Тот же ряд эпитетов: "искренний", "мужественный", "благородный", "честный" пестрят в библиографиях таких не схожих писателей как Манн и Бунин, Булгаков и Паустовский...

* * *

Не раз обращался к творчеству Хемингуэя и Юрий Олеша.

”Сквозь летящий, неживой, неестественный, не останавливающийся бредовый мир пьянства, дансингов, застольной болтовни вдруг проступают перед ними (героями — Р. О.) видения реальной могущественной красоты природы и человека” — пишет он в рецензии на ”Фиесту”.[30]

Начавший ослепительными ”Тремя толстяками” и ”Завистью”, талант, скорее американцу родственный, Олеша, еще не прочитав ни одной строки Хемингуэя, тоже стремился не описывать, а показывать. Свежие, хрустящие фразы, передавали особую, неповторимую радость восприятия утреннего мира. ”Зависть” не устарела и сегодня, полвека спустя, хотя, конечно, читается по-иному.

Олеша не принадлежал к ”Серапионовым братьям”, но один из их лозунгов ”На Запад!” был ему близок.

Он испытал несправедливую критику. ”Потом (т.е. после успеха своих первых книг. — Р. О.) он перестал выступать с крупными произведениями...” — сообщает КЛЭ.[31] Именно тогда он стал писать рецензии, среди них — и на ”Фиесту”. Он, как и Платонов — тоже критик отчасти поневоле.

Хемингуэя он несколько раз сопоставлял с Л. Толстым.

В рецензиях Олеши причудливо сплетаются его мысли, его слова с казенными лозунгами, догмами, языком. Так и он строго выговаривает американцу: его ”герои думают, что они несчастны потому, что люди вообще несчастны..., а, на самом деле, — потому, что живут в капиталистической стране”. А дальше, — опять Олеша, — ”эти фразы болят”. И вопрос, относящийся к нему самому: что может сделать художник из ничего?

В 1937 году Юрий Олеша, признаваясь: ”У нас в Союзе Хемингуэя любят и читатели, и мастера слова”, тем не менее оговаривается: ”Мы можем пожалеть его. Пожалеть эту умную голову, бьющуюся над разрешением вопросов, которые нам ясны”.[32] Слова эти будто произносит не тонкий мастер, а один из героев ”Зависти”, напирмер, футболист Володя Макаров. Вряд ли Олеше ”все было ясно”. (Впрочем, кончался год тридцать седьмой...)

Олеше принадлежит едва ли не самое лучшее определение: ”Когда обращаешься к книгам Хемингуэя, даже не можешь дать себе отчета, читаешь ли книгу, смотришь ли фильм, видишь ли сон, присутствуешь ли при совершающемся на самом деле событии”.

В 1939 году в Ленинграде был творческий вечер Хемингуэя. Вступительное слово произнес В. Каверин. Г. Гуковский утверждал, что писатель "развивает свою тему в манере благородной сдержанности и эта манера в высокой степени свойственна русской литературной культуре, начиная с Пушкина.[33]

Сценарист М. Блейман писал: "Как ни странно, "Пятая колонна" Хемингуэя ставит вопросы, которые некогда, в годы Гражданской войны очень волновали большинство людей, работавших в советской литературе. Тема столкновения зашитого в черную куртку коммуниста и мятущегося, снедаемого иллюзиями гуманности и личного счастья интеллигента нашла свое отражение в большинстве книг начального периода советской литературы. Это тема "Жизни и гибели Николая Курбова" Эренбурга, тема "Городов и годов" Федина и десятка других, менее значительных книг..."[34] Темы эти отнюдь не исчезли и позже.

Как любая революция, любой кардинальный переворот, и русская породила и возродила иллюзии о беспредельности человеческих возможностей: "кто был ничем, тот станет всем!" По мере того, как революция неотвратимо становилась государством, это сменялось представлением о беспредельности возможностей воспитания других. Кому дано право воспитывать?

Тогда все спешили ("Время, вперед!"). Спешили строить фабрики и заводы. Требовали небывалых темпов от строителей, машинистов, чернорабочих, от академиков.

Те, кто осмеливался говорить: прежде чем перестраивать, надо понять, что именно осуществимо, — есть пределы прочности машин, материалов, инструментов; ускоряя движение поездов, можно вызвать аварии, — тех именовали маловерами, оппортунистами, "предельщиками", а то и сажали как вредителей.

И требовали так же стремительно перестраивать, перекраивать умы и души. Досрочно, ударными темпами создавать нового человека.

С теми, кто позволял себе усомниться, — так ли уж все может этот новый сверхчеловек, — с теми поступали так же, как с предельщиками в промышленности. "Инженерам человеческих душ" тоже предъявлялись обвинения во вредительстве.

Время Хемингуэя в СССР началось именно тогда.

Не он изобрел кодекс мужественного поведения в безвыходных обстоятельствах. Задолго до него Корнель и Расин, наследуя античным авторам, утверждали трагическое величие тех, у кого в трудной борьбе долг побеждал чувство.

Но Хемингуэй был нашим современником. Его слово, поведение его героев было куда ближе, где-то совсем рядом.

Когда его герои обуздывали своеволие, это могло стать для их подражателей спасительным примером. За него цеплялись. В книгах Хемингуэя иногда находили опору и оправдание те, кто строил каркас (часто, как оказывалось, внешний), внутрь которого загонялась непокорная душа. Там ей предстояло существовать, сжимаясь, биться об стенки, подчас вырываться, угрожая ее носителю, подчас гибнуть.

Возникали психические травмы, мучительный разлад. Одни души разрушились. Другим удалось разрушить каркас.

Внешнее сходство хемингуэевского кодекса и того, который внедрялся тогда в души советских людей было обманчивым, а суть их — прямо противоположна. Разделяя и самые невинные порывы его героев (хотя бы простейшее "хочу кошку"!), мы неизбежно, хотя и бессознательно впадали в крамолу. Ведь все эти желания, — желания личности. А у нас строился мир, основанный на отрицании личности.

Погружение в Хемингуэя могло стать если не бунтом, то бегством от советской действительности. Несовместимость персонажей Хемингуэя с коллективистским обществом, их отщепенство, зорко углядел Майкл Голд. А многие из нас, хватаясь за реальные и мнимые черты сходства, долго искали или возводили мостки. Да, хемингуэевские герои, как и советские люди, порою наступали себе на горло, подавляли себя. Во имя чего?

Макомбер подавляет присущий ему страх для того, чтобы стать настоящим мужчиной.

Лейтенант Генри бросает оружие, заключает сепаратный мир потому, что ему чужда война и ради Кэтрин.

Рыбак Саньяго подавляет стариковские немощи, сражается с акулами, чтобы умереть, не посрамив свою

предшествующую жизнь.

Роберт Джордан отбрасывает мечты о счастье с Марией, чтобы исполнить долг, чтобы взорвать мост, чтобы Республика в Испании победила.

Если Хемингуэй чему и учил, — то оставаться собою. Отступать же от себя, — когда к тому вынуждают силы необоримые, — с возможным достоинством.

"Не быть сукой, — это у нас вместо бога", — говорит Брэт Эшли, героиня "Фиесты".

Оказалось, что при известных обстоятельствах не быть сукой, — неимоверно трудно. Может, кто и устоял благодаря Хемингуэю.

В семидесятые годы и эта сторона хемингуэевского опыта у нас радикально переосмысливается. За счет писателя.

"То, что казалось напором изнутри, смысловым избытком содержания, то на поверку оказалось внешним нажимом, насилием над собой, над словом, над собственной жизненной позицией, что, как всякое искусственное усилие, всякая искусственная поза не может сохраняться долго", — пишут Д. и М. Урновы.[35]

Здесь, по-моему, тонкое и верное наблюдение причудливым образом обходя реальные особенности нашего развития, — ведет к одностороннему и ложному обобщению.

Постепенно и к советским читателям пришло старое, как мир, но очень прочно забытое прозрение: устойчивого человека нельзя "построить". Можно — вырастить. И процесс этот неизбежно длителен, не терпит никакого ускорения, менее всего ускорения извне.

Улучшить же мир можно прежде всего, если человек улучшает себя.

Этому помогал Хемингуэй. Но, когда потребность самоусовершенствования стала все более властно осознаваться, люди обратились за поддержкой к иным источникам, стали искать иные духовные ориентиры. В экзистенсиализме. В религии. Однако, все это — гораздо позже. Мы пока еще в тридцатых годах.

* * *

В промежутке между первым и вторым русскими сборниками была Испания. Репетиция большой войны —

Второй мировой.

Три года Хемингуэй сражался на стороне республиканцев. Как и другие писатели — испанцы и французы, поляки и американцы. Он снимал фильм. Он передавал корреспонденции. Он, вернувшись на короткое время на родину, выступал — в первый и последний раз с речью на Конгрессе американских писателей, призывая к борьбе против фашизма.

Потом, когда франкисты победили, писал Кашкину: "...А в Испании забавно было, как испанцы, не зная, кто мы такие, всегда принимали нас за русских...".

Легенда о Хемингуэе сливалась в нашем сознании с легендой об Испании, — едва ли не самой романтической страницей страшной истории тридцатых годов. По словам современного испанского писателя Хорхе Семпруна — "лирическое оправдание целого поколения". Одна из последних иллюзий у многих, за которую продолжали держаться изо всех сил, даже после тюрем и лагерей годы и годы спустя.

Как и читатели всего мира, у нас знали, что Хемингуэй пишет роман об Испании. Ждали. Предвкушали то, что *должно* быть в нем, *каким* должен быть этот роман.

В 1940 году роман "По ком звонит колокол" был опубликован в США.

В конце 1940 года, в "Интернациональной литературе" (№11-12) было напечатано[36] открытое письмо Хемингуэю от ветеранов испанской войны, коммунистов.

> "Мы участники Интербригад Испанской республики, убежденные в правоте того дела, за которое мы боролись, с чувством глубокого негодования осуждаем данное Вами в книге "По ком звонит колокол" изображение этой борьбы.
>
> ...вырисовывается картина, настолько изуродованная и извращенная (как из-за упущений, так и из-за нарочитых искажений), что она превращается в клевету на то дело, за которое мы боролись...
>
> Мы отвергаем ее, как искажение подлинной картины войны в Испании...".

Авторы сообщали, что этот текст был принят после обсуждения на общем собрании ветеранов.

По тогдашним временам — приговор окончательный и обжалованию не подлежал. Тем не менее переводчи-

цы, — Евгения Калашникова и Наталья Волжина получили задание перевести книгу[37] от тогдашней заведующей иностранной редакцией Гослитиздата А.В. Савельевной. Переводчицы уехали в Дом творчества Голицыно, работали и соблюдали данное слово: никому не рассказывать о том, что именно они переводят. Даже своему учителю И. Кашкину. К марту 41-го года перевод был закончен. И в Гослите, и в журнале "Знамя" готовился к печати.[38] Но пошли слухи, будто рукопись перевода прочитал Сталин и сказал: "Интересно. Печатать нельзя". Это правдоподобно.

Замороженная и журналом, и издательством рукопись зажила, тем не менее, особой, говоря сегодняшним языком, самиздатской жизнью. Ее явно перепечатывали, ибо ее прочитали десятки, если не сотни людей.

Илья Эренбург свидетельствует:

"Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище, Захотелось выспаться и мы с Б. Лапиным решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя "По ком звонит колокол". Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыхали зенитки, а мы читали".[39]

В книге И. Кашкина, посмертно изданной (1966 г.), сказано: "...летом 1941 года роман или выделенную из него повесть об испанских партизанах просили спускать на парашютах в минские и новгородские леса, где былые соратники Хемингуэя — испанцы и русские сражались с "голубой дивизией" Франко и Муньос Грандеса".[40]

То, что из романа была выделена некая повесть, подтвердилось. Один человек читал ее в Москве, другой — в Ташкенте.

У нас по-английски издана книга[41] Хемингуэя For Whom the Bell Tolls, где нет ни Гэйлорда, ни штаба республиканских войск. Есть только партизанский отряд. Нет, разумеется, и рассказа Пилар о жестоком истреблении фалангистов. Может быть, это и есть та самая, "выделенная из романа повесть", где благодаря сокращениям, искажено содержание, смысл?

Подлинная рукопись перевода романа тогда, в сорок первом году, разошлась по разным городам. Ее читали в Красноуфимске (туда был эвакуирован Гослитиздат), в Ташкенте (туда эвакуировалась часть Союза писателей), в Свердловске (там находились факультеты Московского университета), в Куйбышеве.

Елене Зониной, критику и переводчику, в начале войны было девятнадцать лет. Она вспоминает:

"В юности и жизнь казалась прозрачнее, яснее, добро и зло были ясно разграничены, я ЗНАЛА КАК ЖИТЬ. И Хемингуэй совпадал с этим знанием, с этим внутренним императивом, который требует не слов, а поступков. Так "Колокол", который я прочла зимой 1941 года в Красноуфимске, при свете коптилки в халупе за кладбищем, был подтверждением того, что надо, нельзя не добиться, чтобы меня взяли в армию, на фронт (эвакуированных не брали). Нужно было быть как Джордан. Нужна была во что бы то ни стало справедливость, справедливость была дороже жизни. А кое-что о несправедливости я уже тогда начинала понимать, может быть, и не совсем как надо, но понимать".

Вопреки многим препятствиям, она добилась, чтобы ее отправили на фронт.

В августе 1942 года я впервые услышала отрывок из романа "По ком звонит колокол". Немецкие армии подходили к Сталинграду. Во Всероссийском театральном обществе (ВТО) созвали совещание по англо-американскому театру, — одно из мероприятий, демонстрировавших нашу дружбу с союзниками. В зале было много военных, приехавших с фронта в Москву на день, на два.

Илья Эренбург прочитал заключительные страницы романа о последних минутах жизни Роберта Джордана. Читая, Эренбург передавал нам, слушателям, и свою давнюю любовь к Хемингуэю, потрясение искусством. Но и то, что сам испытал за первый год войны не в Испании, — у нас.[42]

Тут я не сомневалась: книга Хемингуэя не только про ту, закончившуюся поражением далекую войну, а про наших, про моих родных и друзей, про тех, кто вот сейчас, сию минуту дерутся каждый на своем участке.

Мой муж погиб на фронте через несколько дней после моей встречи с романом. Может быть, еще и потому, я навсегда запомнила, что не надо спрашивать, по ком

звонит колокол, — он звонит и по тебе... Долгими ночами я пыталась представить себе, что успел ощутить муж, стрелок-радист на тяжелом бомбардировщике, — они летали на Кенингсберг, на Полтаву (там была ставка Гитлера), на Берлин, — в те последние мгновения, когда загорелся самолет. В сплаве моих тогдашних представлений об идеале, было и непреклонное мужество, почерпнутое у любимого писателя. "Леня погиб как *должно...*" было временами сильнее у меня в душе, наедине, чем "Леня *погиб*".

Не плакать на людях. Герои Хемингуэя уходят не плача. Все — внутри. Если тебе худо, если очень худо — кусай губы, крути бумажки. Хемингуэевский стоицизм и слова, звучавшие вокруг и во мне — "стоять", "устоять", "выстоять" — одного корня.

* * *

Маргарита Алигер прочла в конце войны "По ком звонит колокол" по-английски и

"была столь взволнована этой книгой, что даже несколько глав из нее перевела для себя на русский язык, и полагаю, что кое-чему научилась в этой вроде бы бессмысленной работе, — если можно считать бессмысленной работу, которую делаешь лишь по внутренней потребности, по велению сердца, без всякой возможности и даже без всякого намерения ее реализовать. Может быть, такого рода работа драгоценнее всего?"

Хемингуэя во время войны не издавали. Во время войны вообще издавали мало. Но читали по-прежнему. А воспринимали, быть может, и обостреннее прежнего, — как все во время войны.

Слова из романа "Прощай, оружие" Ахматова поставила в 1942 году эпиграфом к третьей части "Поэмы без героя", — к Эпилогу. Этот эпиграф: "Я уверена, что с нами случится все самое ужасное"[43] (в подлиннике мягче "I suppose", "думаю, предполагаю, мне кажется") сохранялся в рукописях "Поэмы" тринадцать лет. Летом 1955 года Ахматова заменила его строками Пушкина.[44]

Хемингуэй в первые же дни войны присоединился к тем, кто поддерживал Советский Союз. В феврале 42-го

года прислал телеграмму, кончающуюся словами: ”Всякий, кто громит Гитлера, должен считать Красную Армию героическим образцом, которому необходимо подражать”.[45]

В годы войны о нем самом доходили к нам скупые сообщения: на моторной лодке крейсировал вдоль побережья Мексиканского залива, выслеживая ожидавшиеся там подводные лодки нацистов. И в чемодане возил с собою (кроме детективов и ”Золотой ветви” Фрезера) ”Войну и мир”. Как и в чемоданах, мешках, солдатских котомках, узлах эвакуированных у нас в России, — томики ”Войны и мира”.

Хемингуэй — корреспондент в Лондоне во время налетов фашистской авиации. Участник высадки союзников в Нормандии 6-го июня 1944 года. Вошел в Париж с отрядами маки, еще до подхода регулярной армии...

В декабре 1944 года мне поручили сопровождать писательницу Лилиан Хеллман, — первую американку, которой разрешили побывать на фронте.

Наш вагон был полон иностранными корреспондентами, — их на фронт не пускали, они ехали до Люблина, — там 30 декабря учреждали новое просоветское правительство Польши.

Я смотрела в окно. Мне не хотелось разговаривать с иностранцами, все они, даже Лилиан, были чужими. Я обязана была переводить, мне и этого не хотелось.

Новый год встретили в школе, за длинными деревянными столами, — среди присутствовавших были Берут и Гомулка. На столах — таз картошки, таз капусты, четверть водки. Хлеба почти не было.

Мы с Лилиан ехали дальше.

Я твердила, что нам нужен Хемингуэй. Лилиан рассказывала об Испании, о встречах с ним. Писатель он хороший, но не лучший. Вот Фолкнер, — действительно гигант. Не от нее ли я впервые услышала (и сразу забыла) это имя?

Много лет спустя в письме ко мне (28 июля 65 г.), а потом в автобиографической ”Незавершенной женщине” (1969 г.) Хеллман вспоминала, как читала мне тогда в поезде отрывки из статей Томаса Манна о Фрейде. К тому времени я знала только ”Лотту в Веймаре”. И еще в юности прочитала почти полное собрание сочинений Фрейда.

Приехав в Москву в 1966 году, она снова вспоминала, что говорила со мною о Фрейде.

Этих разговоров с ней о Фрейде не помню я. Разговоров о Хемингуэе не помнит она. У нее сохранились дневники. Я тогда дневников не вела. Но неужели эти споры в затемненном военном поезде о Хемингуэе и Фолкнере мне лишь привиделись?

III. В ОПАЛЕ

Американская литература в первом послевоенном десятилетии исчерпывалась в СССР тремя именами: Теодор Драйзер, Говард Фаст,[46] Митчел Уилсон. Духовная жизнь была строго регламентирована, предельно урезана. Огромного мира за нашими границами, — словно и не существовало.

И книги Хемингуэя шестнадцать лет, — с 1939 до 1955 г. у нас не издавались.

Так же как не печатали книг Стейнбека и Колдуэлла, Моруа и Дюгара, Манна и Ремарка. Не говоря уже о пропущенных в свое время, — как тот же Фолкнер, как Гессе, — или новых, входящих в литературу, — Сартр, Камю, Белль, Фриш, Дюренматт, Грем Грин, Сэлинджер...

Не публиковалось и статей о творчестве Хемингуэя. Упоминания в обзорных статьях об американской литературе — преимущественно отрицательные.

"Хемингуэй не оказался на уровне передовых идей, область которых он затрагивает, и потому его роман (нет даже названия романа. — Р.О.) в значительной степени получился ложным. Писатель извратил смысл многих важных событий гражданской войны в Испании".[47]

"В его творчестве, — утверждает другой критик, — сильно отразилось возрастающее влияние упадочнических настроений в Америке... Писатель как бы пытается не замечать глубокого идейного содержания произведений русской литературы".[48]

В статье "Проповедь одичания и империалистического разбоя" содержание книги "Старик и море" излагается с глубоким отвращением. Автор вещает: "Реакционная критика подняла на щит это произведение Хемингуэя, пытаясь усмотреть в нем "глубокую философию".[49]

* * *

С 1948 года я училась в аспирантуре в ИМЛИ. Там я впервые увидела И.А. Кашкина.

Имя было знакомо. Хотя, испытав в студенческие годы наваждение романов "Фиеста", "Прощай, оружие", рассказов "Кошка под дождем", "Снега Килиманджаро", я вряд ли отдавала себе отчет, что это кем-то переведено. Как в детстве, книга была для меня чудом, никем не написанным, так в юности иностранные книги при помощи неведомой магии сразу становились русскими — моими.

Кашкин читал доклад о неоромантизме в Англии, — писателей, о которых он говорил, я не знала. Доклад не заинтересовал. Другой его доклад был посвящен Чосеру. "Кентерберийские рассказы" я в студенческие годы сдавала, но не читала.

Нужно ли заниматься старыми писателями — спрашивала я себя в те годы. Сомнительно.

Такова была моя "невстреча" с Кашкиным. По моей — не по его вине.

Он не вмещался в понятие "порядок". Теперь понимаю, что Кашкин вообще не вмещался в советское учреждение. Он, споривший с Хемингуэем, сам-то и был в точном смысле слова "free lance" — вольный стрелок. К тому же он был болен — чего я тогда не знала. А знала бы — не поняла бы...

Вопреки суровым суждениям критиков, вопреки общей атмосфере, никак не способствовавшей восприятию иностранных писателей, Хемингуэя продолжали любить. Книги уцелели и в государственных, и в частных библиотеках. Подрастали и новые поколения читателей (в их числе будущие литераторы). Они открывали великого американца.

Фазиль Искандер (родился в 1929 г.)

"Хемингуэй как бы подсказал мне: не бойся тратить время и силы на полноту изображения окружающего мира, ибо человек, о котором ты пишешь, или теряет или получает этот мир".

Владимир Корнилов (родился в 1928 г.)

"Э.Хемингуэя читал не переставая лет двадцать с гаком. Оказал огромное влияние. Долгое время считал его не только лучшим писателем, но и учителем жизни. Последние лет восемь несколько поостыл. Посмертная вещь "Острова" очень не понравилась".

Бенедикт Сарнов (родился в 1927 г.)

"Я был совершенно потрясен тем, что прочитав короткий, обрывистый, сбивчивый диалог двух совершенно чужих и незнакомых мне людей ("Белые слоны", "Кошка под дождем"), я вдруг ощутил, что знаю этих людей так же хорошо, как знаю самого себя. Даже лучше, чем себя!

Хемингуэй открыл мне то, что можно назвать н е р у к о т в о р н о с т ь ю и с к у с с т в а. После этого на протяжении двух десятков лет мне казалось, что писать имеет смысл только так, как Хемингуэй. Но научиться писать так, как он, нечего было даже и мечтать: разве можно выучиться на волшебника?..

Хемингуэй долго оставался моей главной (если не единственной) любовью. И только лет десять тому назад обаяние его прозы стало для меня немного тускнеть. Виной тому — многое. Однако немалая роль тут принадлежит другому великому американцу, сравнительно недавно вошедшему в мою жизнь: Фолкнеру.

Но и сейчас, раскрыв случайно том Хемингуэя, я чувствую словно толчок в сердце, как бывает, когда вдруг в толпе увидишь измененное временем лицо женщины, которая была твоей первой любовью".

У Искандера, у Корнилова, у Сарнова — писателей совершенно разных в их сегодняшних произведениях, пожалуй, нелегко обнаружить хемингуэевское влияние (кроме самых ранних рассказов Искандера). Оно было скорее воздухом, средой, творческой силой, побуждающей писать. Русская проза в шестидесятые, семидесятые годы говорила иным языком.

А после войны в сороковых-пятидесятых литературные журналы, издательства, радио, публичные лекции, школьные и университетские программы заполняли произведения, о которых сегодня, к счастью, уже почти никто не помнит. Эти многостраничные опусы не имели ничего общего ни с искусством, ни с правдой, ни с русской традицией. В том числе и с традицией усвоения и творческого претворения мастеров прозы других стран.

У Виктора Некрасова есть рассказ "Посвящается Хемингуэю". Летом 42-го года автор — лирический герой в окопах Сталинграда не расстается с книгой "в темнокрасной обложке "Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов". Он дал ее прочитать связисту Лешке, неутомимому читателю. Давая книгу юному другу, он спрашивает себя, — а поймет ли тот писателя. "Хемингуэй не легок, не для всех".

Лешка тяжело ранен, книга запачкана кровью. В. Некрасов вспоминает рассказ американского писателя о мадридских шоферах, об Ипполито и заключает, что "не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным".[50]

...Лето 1974 года. Откос над Москвой-рекой. Последние часы с Виктором Некрасовым, — он уезжал. Навсегда.

Вспоминаем, невесело размышляем о давнем и недавнем прошлом, пытаемся представить себе будущее. Раздельное.

И все же я не удерживаюсь и спрашиваю его о том, о чем в те месяцы спрашивала многих писателей: "Какую роль в Вашей жизни сыграла американская литература?"

— Демобилизовался. Сидел в киевской квартире наших старинных друзей и писал "В окопах Сталинграда". Маленькая дочка хозяев серьезно говорила: "Дядя Вика работает Хемингуэя"...

Так судьбы хемингуэевских героев и книг продолжали неразрывно сплетаться с русскими, — и читательскими и писательскими.

Когда в 1950 году вышел роман "За рекой, в тени деревьев", у нас, кажется, никто этим романом не занимался. Однако и у этого романа нашлись потом свои, весьма неожиданные приверженцы.

Летчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Галлай пишет:

"...Вот у Хемингуэя герои тоже, как правило, сильные люди, но "суперменами" их уж не назовешь никак! И оттого, что они сильные, им не легче, а труднее живется на белом свете — как оно и бывает на самом деле... Почему-то наибольший внутренний резонанс вызвало у меня, наверное, далеко не самое лучшее сочинение Хемингуэя — "За рекой, в тени деревьев". Наверное, тут дело не в каких-то объективных оценках, а в совпадении настроения читателя и писателя (вернее, его персонажей, которым он отдал часть своих настроений)..."

А Ю. Нагибин, прочитав этот роман, ощутил себя "отброшенным в даль ушедших лет". Анна Ахматова возмущалась "кровавыми бифштексами" из этого романа.

Анатолий Эфрос же характеризует "За рекой, в тени деревьев" так:

"В одной из его книг, в одной из таких его очень хороших книг, что они становятся родными, после того, как их прочтешь, и вы начинаете думать о них так же или почти так же, как о любимых своих близких, — так вот в одной из его книг мужчина приходит к врачу..."

Английский писатель Ивлин Во возражал против нападок на роман "За рекой, в тени деревьев". "Как мы наслаждались "Фиестой", как она воздействовала на нас четверть века тому назад! И как плоско мы воспринимаем те же дары сегодня!"[51]

Борис Изаков, журналист, много лет проработавший в "Правде", в одной из заграничных поездок достал повесть "Старик и море" (1952 г.). Они вдвоем с переводчицей Еленой Голышевой, на свой страх и риск, без всякого заказа и без надежды на заказ, перевели повесть. Перевод обошел несколько журналов, — безрезультатно.

Эти переводчики к тому времени напечатали несколько произведений английских и американских прозаиков и драматургов. Члены бывшего кашкинского коллектива относились к ним свысока (как, впрочем, почти ко всем "чужакам").

В 1954 году Хемингуэю присудили Нобелевскую премию по литературе "...за его сильное стилеобразующее мастерство современного повествования, что было недавно подтверждено в повести "Старик и море". Но советские люди тогда об этом даже не узнали: в газетах такие сообщения не печатались, иностранное радио слушали немногие (сравнительно с тем, что происходит сегодня). Пожалуй, до скандала с романом "Доктор Живаго", до 1958 года, до Пастернака, это понятие — Нобелевская премия — просто отстутствовало в сознании огромного большинства людей, даже литераторов.

IV. РЕАБИЛИТАЦИЯ

Шестнадцать лет Хемингуэй пробыл в опале.

В 1955 году, по решению Второго съезда писателей был основан журнал "Иностранная литература".[52] Главным редактором назначили Александра Чаковского.[53] С февраля 1955 года я начала работать в редакции.

Какой книгой открывать журнал? Лучше всего Хе-

мингуэем. Продолжить традицию. И познакомить с новым, уже всемирно известным произведением.

Переводчики, естественно, принесли повесть "Старик и море" к нам на улицу Воровского.

Чаковский хотел ее опубликовать. Наметанным взглядом он сразу увидел, что в самом тексте не было *ничего* (в отличие, например, от "Колокола"), что мешало бы публикации в СССР. Он понимал, что лучшего дебюта для журнала не найти. Но сам не решался.

В марте 1955 года поехал в Министерство иностранных дел на прием к министру, к Молотову. (Уже не первый раз.)

Вернулся злой и решительный. Собрал маленькую тогда редакцию.

— Я спросил Вячеслава Михайловича о "Старике и море". Он ответил: "Мне сказали, что это — глупая книга". Надеюсь, всем понятно, что печатать мы не будем. И я требую, чтобы в редакции прекратились всякие разговоры о Хемингуэе.

Я огорчилась — естественно, хотела, чтобы мы печатали книги первоклассные. Но не помню, чтобы возмутилась. Хотя бы про себя.

Журнал открылся романом французского писателя Роже Вайана "Пьеретта Амабль".

Тем временем в нашей печати появились информационно-положительные рецензии на повесть "Старик и море". Небольшая заметка Лидии Кисловой в журнале "Ньюз"[54], а в журнале "Новое время"[55] напечатали рецензию Виктора Горохова "Хемингуэй и его новая книга". В. Горохов журналист, переводчик, был автором книги о Поле Робсоне. Он приносил статью и к нам, я ее читала, но ведь Чаковский запретил даже разговаривать об этом писателе... А главный редактор "Нового времени" Наталья Сергеева разрешила.

Л.Кислова и В.Горохов захотели стать пионерами восстановления Хемингуэя. Им первым предоставили эту возможность.[56]

В июне 1955 года в Вене происходила очередная сессия Всемирного Совета Мира. Там на приеме Эренбург, — он еще был членом нашей редколлегии, — подошел к Молотову.

— Вячеслав Михайлович, вы запретили "Иностранной литературе" публиковать "Старик и море"?

— Нет, не запрещал. Я не читал этой книги. Мне говорили, что она глупая. Пусть сами решают.

Эренбург вернулся, передал этот разговор. Повесть срочно поставили в очередной — третий номер. Перевод редактировала М.Лорие. Так, в сентябре 1955 года опала с Хемингуэя была, наконец, снята.

Реабилитация Хемингуэя или Стейнбека и реабилитация невинно осужденных советских людей, — как и осуждение тех и других,[57] были частью одного процесса. Публикуя иностранных писателей, мы приоткрывали двери в иной мир. Читатели неизбежно начинали сопоставлять.

И дело было не только в правдивой информации. В нашем обществе начался период бурной переоценки ценностей. Для многих встал вопрос: чем люди живы? Где истина? Во имя чего жить, чему верить? Ответы искали на разных путях. В марксизме, очищенном от скверны сталинизма, соединенном со свободой и гуманностью. В религии. В запрещенных ранее русских книгах. И в иностранной литературе.

С 1955-56 гг. книги Хемингуэя, — как и книги Ремарка, Белля, Сэлинджера становились насущным духовным хлебом.

Реабилитация Хемингуэя шла очень долго, трудно, с зигзагами и поворотами. В учебные программы филологических факультетов имя Хемингуэя вошло лишь с 1972 г.[58]

Старые запреты рушились, новые еще не возникли. Это был особый, неповторимый момент нашей истории.

И первыми публикаторами и рецензентами оказались не те люди, которые ввели Хемингуэя к нам в тридцатые годы, посвятили его переводам свои жизни.

Отдельным изданием повесть "Старик и море" была опубликована в Детгизе.

Американский исследователь Ю.Прайзл в статье "Хемингуэй в советской литературе и критике" [59] высказывает предположение: "...видя, что советские власти недовольны тем, как была принята повесть читающей публикой, предприняли публикацию в Детгизе, стремясь принизить значение книги, проиллюстрировать, что она в меньшей степени заслуживает внимания серьезного чита-

теля". Это предположение весьма наивно. Никто из представителей власти не знал, и не хотел знать, как именно была принята повесть читающей публикой. Книги печатались и по случайному стечению обстоятельств, и по сравнительно большей или меньшей смелости того или иного редактора.

Так, в 1956 году Борис Грибанов, тогдашний заведующий иностранной редакцией Детгиза, добился издания повести "Старик и море", хотя уже к детскому-то чтению книга никакого отношения не имела.[60]

Очень скоро повесть вошла в читательский обиход, стала классикой, а для начинающих писателей — учебником.

Михаил Рощин (родился в 1933 г.)

"...Также очень рано я прочитал Хемингуэя, — еще в тех дешевых довоенных изданиях, и это влияние, то затухая, то разгораясь, продолжалось много лет: "Иметь и не иметь" долго была моей любимой книгой, по "Старику и море" я просто учился писать (у меня даже есть где-то разрисованный пометками экземпляр), — эту книгу я считаю почти столь же совершенной, как "Хаджи Мурат". Уже взрослым человеком я пережил потрясение от "Колокола"...

Анатолий Приставин (родился в 1931 г.)

"...Наверное, это не такая уж новость, через Хемингуэя мы все прошли, а он прошел через нас. Расскажу про повесть "Старик и море", которую я прочел первой, ранее других.

Прочел я ее на лекции в институте. Читать начал с любопытством, но скоро все забыл, и лекцию, и институт, и себя. Все, все. Книгой, историей старика, но и мальчика, был поражен настолько, что не пытался сперва и понять, как оно все сотворено. Это была чья-то несчастная жизнь, ставшая частью моей, вот что я тогда понял, и это знаю на всю жизнь. Я с тех пор и не перечитывал "Старика", я так его знаю, как будто сам нечто подобное пережил, и могу рассказать как о пережитом своем".

Экзистенсиальный характер "Старика и море" был осмыслен не сразу.

Но сразу же возникло множество вопросов и споров.

Повесть не была похожа ни на что прежнее. Читатели либо отвыкли, либо никогда не сталкивались с подобными книгами. Они не укладывались ни в какое привычное русло.

Чаще всего моим коллегам приходилось отвечать на

вопрос: символична ли книга? Есть ли в ней развернутая аллегория? И, если есть, — тогда что именно означает акула, мальчик, львы, да и сам старик?

На первых же страницах "Старика и море" возникает "парус вечного поражения". Исход предрешен. Исход не самое важное. Важно, жизненно важно вести бой. Не сдаться. Не отказываться от борьбы.

В 1956 году я редактировала статью И.Кашкина "Перечитывая Хемингуэя". Это было время, когда люди многое перечитывали заново. Вернулась к Хемингуэю и я. Отнюдь не по долгу службы. Оттепель была исполнена романтических иллюзий. И в это время вновь пришел к нам романтический писатель Эрнест Хемингуэй.

Тогда по-иному начали мне открываться "Фиеста", "Прощай, оружие", "В снегах Килиманджаро".

Я начала, только начала учиться видеть мир без прикрас. Не отшатываться. "To endure" — выдюжить, — это позже принес Фолкнер. А тогда, — устоять, не теряя достоинства. Хотя именно тогда жизнь была преисполнена надежд, но одновременно вырабатывался, кристаллизовался и некий новый кодекс поведения, — жить, надеясь не на внешние подпорки, — как прежде, — а на себя. Только на себя. "Какими мы не были, но могли бы стать, еще можем стать", — так я определила бы свое отношение к Хемингуэю в конце пятидесятых годов. Найти себя в себе мне помог и Хемингуэй. Опуститься в себя, добраться до "душевной глуби". Могли бы помочь и Ахматова, и Пастернак, но я знала их, — моих великих соотечественников хуже, чем далекого американца.

Кашкин стремился написать о том, что он видит в любимом писателе хорошего, ценного, чем один писатель отличается от других; редколлегия толкала критика на проработку, на перечисление и осуждение недостатков, — "не понял", "не отразил", "не сумел подняться"...

Борьба шла между истиной, к которой был близок Кашкин, и требованиями редколлегии. Тогда мне чуть приоткрылся этот уставший, больной, контуженный жизнью человек, но с воскресшей, как у многих в то время, надеждой.

Мы с ним составляли единый фронт. По-хемингуэевски защищая позиции ("Какого черта надо заботиться о спасении души, когда обязанность человека в том,

чтобы потерять ее разумно, так, как сдаешь позицию, которую ты защищаешь, но уже не можешь удержать, так дорого, как только возможно"...)

Я уговаривала каждого члена редколлегии по отдельности, — ведь большинство из них любили Хемингуэя.

Наша работа шла в дни XX съезда и сразу после него.

Все мысли и чувства были до краев наполнены своим. Но жизнь-то едина. И все в ней связано. И наша действительность, и далекий американский писатель.

Вспомним мысль Д.Самойлова, — понятие о личной свободе входило в души вместе с Хемингуэем. И с ним же возвращалось... Пока — делать свое, то, что можно, вернуть Хемингуэя и других иностранных мастеров. Писать по возможности полно и правдиво об этих писателях. И прежде всего о любимом Хемингуэе. Слава Богу, что Кашкин дожил и сам может сделать это во второй раз.

Тогда я перечитывала "По ком звонит колокол" и переводила моим близким отдельные главы.

Поражало прежде всего, что поступки Марти в романе и поступки Сталина по закрытому докладу Хрущева на XX съезде совпадали даже в деталях.

Хрущев говорил, что Сталин тыкал карандашом в глобус, определяя (часто неграмотно) движение дивизий, армий, фронтов. Именно так поступал в романе комиссар Интернациональных бригад. И приказывал расстреливать жестоко и бессмысленно, — как приказывал Сталин. И любил убивать, — как любил Сталин.

Отчасти отношение к Сталину и Марти было сходным: опухоль, нарост. Убрать нарост, и останутся чистые Интербригады, чистая Испанская республика, а у нас, — очищенная Советская власть...

Доклад Хрущева читали вслух на всех собраниях. Не было тогда человека, который не прослушал бы его. Прослушали и Кашкин, и члены редколлегии, и я. Однако, большинство запретов еще сохранились. Так, о публикации "Колокола" еще нельзя было и заикаться. Наоборот, — этот роман все еще необходимо было ругать. Такова была в тот момент цена для того, чтобы напечатать большую, серьезную, положительную статью о писателе. (А, может быть, это нам так казалось. Это мы еще сами не осмеливались сделать следующий шаг. Цена, ведь, величина отнюдь не объективная. Определялась она,— и ныне опре-

деляется, — не только теми, кто ее требует, но и теми, кто ее платит, — или отказывается платить.)

Впрочем, тон Кашкина изменился по сравнению с письмом ветеранов, со статьями сороковых годов: "И даже в таком романе, как "По ком звонит колокол", при всех его идеологических ошибках и художественных недостатках, отражен, хотя и субъективно, а часто и в ошибочном преломлении, определенный участок борьбы с фашизмом".

Не только у членов редколлегии, но и у нас обоих еще оставались вот такие обязательные фразы. Мне долго пришлось от них отделываться. У Ивана Александровича не хватило на это жизни.

Критик цитирует в статье 56-го года письмо Хемингуэя, но не указывает, что это личное письмо, адресованное ему, Кашкину. То, что должно было быть предметом естественной гордости, было еще, видимо, подавлено тогда то ли скромностью, то ли старыми страхами. Письма были опубликованы шесть лет спустя.

Когда статья И.Кашкина, наконец, появилась, мы все считали это большой победой.

В то время к нам из Польши пришел такой анекдот: учитель арифметики — реакционер, утверждал, что дважды два — девять. После упорной борьбы реакционеру пришлось уйти и его сменил либерал, который смело заявил, что дважды два — семь. А на того мальчика, который пытался робко заикнуться, что дважды два, кажется, четыре, посмотрели, как на безумца, а то и подлеца, — "неужели ты хочешь, чтобы опять стало девять?"

В 56-м году я была среди тех, кто радовался возможности сказать, что дважды два — семь.

Двухтомник Хемингуэя переходил из плана в план — из 57-го года в 58-й.

Между тем оттепель сменилась заморозками. В Венгрию ввели советские танки и пролилась кровь. Раздался властный окрик: "Все назад!!!" В газетах и журналах был опубликован очередной партийный документ — речи Н.С. Хрущева "За тесную связь литературы с жизнью народа". Прорабатывали редколлегию альманаха "Литературная Москва" (прежде всего — за публикацию рассказа А.Яшина "Рычаги" и стихов Марины Цветаевой".)

"Иностранная литература" сражалась с Фастом[61]

и с польскими ревизионистами.

Осенью 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе. Началась травля поэта в печати. Московское собрание исключило Пастернака из Союза писателей.

Среди многих писателей Запада, которые поддержали гонимого, оказался и Хемингуэй.

"Я подарю ему дом, — сказал он в интервью, — и сделаю все, чтобы облегчить ему привыкание к жизни на Западе. Я хочу создать ему такую атмосферу, которая необходима для продолжения его творчества.

Я ощущаю ту душевную разорванность, в которой находится сейчас Борис.

Я знаю, насколько глубоко в его сердце укоренилась Россия. Для такого гения как Пастернак, решение покинуть свою родину трагично. Но, если он все же приедет к нам, мы не должны его разочаровывать. Я сделаю все, что в моих скромных силах, чтобы сохранить для мира этот творческий дух. Думаю о Пастернаке ежедневно".

Это не содействовало изданию новой книги Хемингуэя в СССР.

Но сдвиг, начатый XX-м съездом, продолжался.

В 1959 году двухтомник Хемингуэя все же вышел. За ним люди стояли в очереди ночью. Третий сборник появился ровно двадцать лет спустя после второго. И опять со вступительной статьей И.Кашкина. В ней "Колокол" все еще назывался "срыв на трудном перевале".

Этот двухтомник привезли Хемингуэю А.Микоян и В.Кузьмищев. "Как мне показалось, — вспоминал Кузьмищев, — перечнем произведений он остался не совсем доволен. Он хотел услышать еще одно название, но так и не услышал его (вероятно, он имел в виду роман "По ком звонит колокол").[62]

* * *

22-го июля 59 г. в Доме дружбы был вечер, посвященный шестидесятилетию Хемингуэя. Выступал И.Кашкин.

В том же году я прочитала первую лекцию о Хемингуэе. Потом их было много, отдельных лекций и спецкурсов, — в Москве и Ленинграде, Новосибирске и Тбилиси, Саратове и Владивостоке. Но эта была первой.

Цитаты из книг для меня переписали дочери, — так они и сохранились в моих старых папках, одна рукой Светланы: "Это проза, еще никогда и никем не написанная. Но написать ее можно, и без всяких фокусов..." И другая, рукою Маши: "Меня всегда приводят в смущение слова "священный", "славный", "жертва"...

Лекция эта была очень плохой.

Позже стала говорить несколько лучше, свободнее.

В июле 61-го года ударило сообщение о смерти.

Его оплакивали советские литераторы разных поколений. Молодой Юрий Казаков, открывавший новые пути поэтической, лирической прозе: "Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, плавает, пишет по тысяче прекрасных слов в день радовала нас, как радует мысль о существовании где-то близкого, родного человека.[63]

А год спустя Константин Паустовский признавался: "Есть люди, при которых увереннее и спокойнее жить на свете, даже если никто их и не видел. Таким человеком в последнее время был Хемингуэй. Довольно того, что он жил где-то. Это одно обстоятельство само по себе было умственной и моральной поддержкой".[64]

Я прочитала около ста лекций о творчестве Хемингуэя и десятка полтора спецкурсов для студентов и преподавателей. Внедряла его, "переводила", толковала. Впервые шла от текста. Кое-что из сказанного потом написала. Большая же часть, — как и предписывал Мастер, — осталась в айсберге. Чаще всего рассматривала рассказы "Белые слоны", "В снегах Килиманджаро", "Дома", "Там, где чисто, светло".

Многие слушатели начинали читать американского писателя, иные учились читать по-иному. Слышать слово. Ощущать выстроенность. Улавливать звук, свойственный только этому писателю, и различать этот звук в разноголосом хоре.

Но озабоченная популяризацией, я округляла, упрощала, выпрямляла. Иначе в преподавании — почти невозможно. Передо мной сидели разные слушатели. Я думала не только об истинно талантливых читателях, о тех, кому достаточно просто приоткрыть дверь и они сами пойдут дальше.

Нет, я думала и о темных, равнодушных, ничего не знающих. И тогда, вместо того, чтобы идти за хемингуэевским словом, вместо того, чтобы погружаться в текст, я рассказывала о нем, что позанятнее, как он в детстве говорил "черт возьми!", а мать посылала его вымыть рот мылом. Действовало безошибочно, приносило лекторский успех. Но писатель уплывал.

На странные сегодня и многочисленные в 1957-60 гг. вопросы "Кого вы считаете более крупным писателем, Ремарка или Хемингуэя?", неизменно называла американца, почти неизменно входя в конфликт со слушателями. Ремарк в то время захватил молодых и старых, "массовых" и элитарных.

А мне, как правило, хотелось быть с аудиторией в дружеских отношениях, а то и нравиться. Я не умела жить на кафедре своей, замкнутой, ни от чего, кроме поисков истины, не зависящей жизнью.

* * *

Я сразу поверила — вопреки опровержениям вдовы — в самоубийство, предсказанное им самим. Запрограммированное характером, книгами, судьбою.

Устраивали вечера памяти. На этих вечерах я говорила о его творчестве. Алексей Эйснер рассказывал о встречах с Хемингуэм в Испании. Путь самого Эйснера — послереволюционная эмиграция, Испания — адьютант Матэ Залка. Там он познакомился с Хемингуэм. Потом — возвращение в СССР, арест, Воркута. И вот, после 56-го года, Москва. Возвращение в русскую жизнь и возвражение к Хемингуэю. Наглядная одновременность реабилитации.

Журналист Г.Боровик рассказывал о встречах с писателем на Кубе. Он участвовал в рыбной ловле на знаменитой шхуне "Пилар"; о встречах на Кубе говорил и Серго Микоян.

Иногда показывали фильм "Испанская земля" с текстом Хемингуэя. Впервые увидела этот фильм в темном зале Института Востоковедения. В фильме поразило, что война совсем не похожа на войну, хотя были и убитые, и раненые.

Вечера прошли в аудитории МГУ, в Институте Курчатова, в Институте гео- и аналитической химии, в Институте Востоковедения..

У меня сохранился пригласительный билет. Один из многих.[65]

В октябре 1961 года прошел XXII съезд партии. Разоблачение Сталина (но не сталинизма!) продолжилось с высочайшей трибуны страны.

В ноябре 62-го года "Новый мир" опубликовал повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Начиналась и впрямь новая эра. В этом же знаменитом номере журнала был напечатан один из лучших, из самых трагических рассказов Хемингуэя "Мотылек и танк". По мнению Джона Стейнбека — лучший рассказ XX века.

Всплывал и всплывал неизвестный ранее Хемингуэй, обнаруживались все новые его связи с нашей страной.

Приведу пример того, насколько он укоренился в нашем сознании: критик Ирина Роднянская в чрезвычайно интересной статье "О беллетристике и строгом искусстве", разбирая первую повесть Георгия Владимова "Большая руда", полагала, что ее "по аналогии с названием известного рассказа Хемингуэя можно было бы озаглавить "Недолгое счастье Виктора Пронякина".[66]

Популярность его и в СССР подтверждается и рассказом Джона Стейнбека "Как я был Хемингуэем". Стейнбек изображает себя в Москве, ему, — к его радости, открыли, что значит "сообразить на троих". В конце концов трое участников так опьянели, что их доставили в отделение милиции. На вопрос "Кто вы такой?" Стейнбек заплетающимся языком ответил "американский писатель".

— Следуйте домой, товарищ Хемингуэй, — ответил сияющий, лихо откозырявший милиционер.

Весьма возможно, что Стейнбек все выдумал, но и в этом случае выдумка характерна.

Корней Чуковский писал Стефану Паркеру, автору статьи "Возрождение Хемингуэя в СССР" (1951-1962).[67]

"Хемингуэй, как Вам известно, стал самым любимым советским писателем. Трудно найти студента, который не читал бы Хемингуэя. Его беспокойная судьба, его внимание к нравственным проблемам, его стремление — найти в жизни истину, — какова бы ни была цена поисков, — все это приближает его к русской литературе, создавшей Достоевского, Чехова, Глеба Успенского".

О связи с русской классикой говорил и Л. Пантелеев:

"...на американской литературе (в ее так называемых вершинных проявлениях) сильнее, чем на любой другой, сказалось влияние нашей большой литературы — Чехова, Достоевского, Толстого. Не открою Америки (простите за этот подвернувшийся мне каламбур), если скажу, что не было бы ни ТАКОГО Хемингуэя, ни ТАКОГО Фолкнера, ни ТАКОГО Сэлинджера, не существуй на свете литературы русской — от и до...".

* * *

Хемингуэй не просто возник вновь. Он *возвращался*. Для одних он был собственной молодостью. (Иногда прерванной лагерем — например, для Юрия Домбровского. А как часто возвращение и мыслилось возвращением в "до войны", в "до тюрьмы".) Для других — молодостью родителей. Как уцелевшие книги, уцелевшие фотоальбомы, как несгоревшие рукописи, как память культуры.

Его второе рождение связано с возрождавшимся напряженным интересом ко всему личному, особенному, не похожему на остальных. Отчасти, — к тому самому своеволию, которое подавляли и герои Хемингуэя. И мы.

Ни в первый, ни во второй раз Хемингуэй не был для нас единственным иностранным писателем. На протяжении того же полувека начинали запойно читать Роллана, Томаса Манна, Фейхтвангера, — позже — Ремарка, Белля, Гарсиа Маркеса. Порою любовь гасла, порой продолжается и поныне. Но в каждом из этих случаев (и во многих других) — меньшая длительность, меньшая интенсивность. И, самое главное, не столь очевиден тот наш собственный опыт, — осознанный, бессознательный, подсознательный, показателем которого становилось наше отношение к Хемингуэю. Поэтому связи с ним мне представляются единственными.

Врываясь в жизнь русских читателей и в 34-ом и в 55-ом годах, книги Хемингуэя попадали в совершенно разную духовную, культурную обстановку в стране.

В середине тридцатых годов многие его читатели еще сохраняли преемственные связи со старой русской культурой. Молодые люди тех лет могли еще многое прочитать в домашних и государственных библиотеках.

При этом первый хемингуэевский период — 1934-1939 — пришелся на эти едва ли не самые страшные годы

нашей истории. Вслед за исчезающими сотнями тысяч, миллионами людей, изымались и книги. Книжный океан превращался в застойный пруд. Духовное развитие становилось все более односторонним, все более скованным. "Фиеста", "Прощай, оружие", "Снега Килиманджаро" оказались для одних створами, душевными раковинами, куда еще можно было уползти. Росло и число других людей, — с замороженными мозгами, которым Хемингуэй был неприемлем, классово чужд, — да и просто непонятен, не нужен.

Его книги тогда оказались в мире сужающемся, скудеющем, откуда другие книги, и русские, и иностранные, — уходили.

Тридцать лет сталинизма иссушили духовную почву России. Оазисы в пустыне были редкими.

В начале шестидесятых годов, когда Хемингуэй возвращался, целые пласты нашей собственной великой культуры были закрыты для нескольких читательских поколений. Полный Достоевский — библиографическая редкость (и до сих пор). Не были опубликованы многие стихи Ахматовой и Пастернака, — их нет и до сих пор. Не было вообще Цветаевой и Мандельштама. Не было ни Булгакова, ни Платонова. Не было Бердяева и Флоренского, Розанова и Г. Федотова.

Почти не было американских, французских, немецких современников Хемингуэя.

Отчасти и потому его слово многие приняли за единственное, за общее и за *свое*. На него возложили непосильный груз. Ничем, кроме нашей истории не обоснованный.

А потом, разочаровавшись в своих собственных иллюзиях, разочаровались и в нем.

Однако, хотя читатели пятьдесят пятого были, как правило, невежественнее, чем читатели тридцать четвертого, — общая атмосфера стала гораздо благоприятнее. Многие люди выпрямлялись, начинали выздоравливать, освобождались от страха и от догматов уходящей эпохи.

Вслед за людьми, одновременно с людьми начали возвращаться и книги.

Возобновилось общение со своей классикой и с мировой культурой.

Быть может, только в семидесятые годы выросло первое читательское поколение, у которого появилась относительная возможность, выбирая из множества, — воспринимать культуру прошлого и современную, русскую и иностранную, — в относительно нормальном порядке. Именно *относительная*, — существование книг в Самиздате и Тамиздате, не подлежащих в значительной степени объективной критике, тоже искажает читательское восприятие. Но подобное давление все же неизмеримо менее искажает глазомер, чем господствовавшая в прошлом лжекультура закрытого общества.

Возникло, — пусть еще и не полное, — но возникло многоголосие. В семидесятые годы читатели начинают понимать, что это такое. Начинают понимать, что несколько хороших и даже великих писателей могут существовать одновременно. (Это, казалось бы, не должно удивлять в стране, где одновременно творили Толстой и Достоевский.)

Появились предпосылки для объективной шкалы духовных ценностей. Появилась возможность, — внутри этой шкалы или в споре с нею, в ее отрицании, — строить и свою собственную. В зависимости от степени зрелости, от особенностей личности, от вкуса.

V. САМЫЙ РУССКИЙ ИНОСТРАННЫЙ РОМАН XX ВЕКА

В письме к Симонову[68] (1946 г.) Хемингуэй спрашивал: "Был ли переведен на русский язык роман "По ком звонит колокол"? Симонов тогда же ответил (цитирую пересказ ответа в обратном переводе с английского по биографии К. Бейкера) :

> "Хотя роман "По ком звонит колокол" еще не опубликован в СССР, он (Симонов. — Р.О.) прочитал рукопись перевода дважды. Это одна из трех-четырех любимых книг его библиотеки. И он не имел ничего против "малых войн в горах". Во всех войнах сражаются малые группы, — даже и в обороне Сталинграда, эпической по размаху. Что же до И.Кашкина — переводчика Хемингуэя, — он жив, все еще рыж, все так же исполнен любви к Хемингуэю и понимания его произведений".[69]

Рукопись перевода романа "По ком звонит колокол" после пятьдесят шестого года влилась в начинающийся Самиздат. Прозы тогда в Самиздате было еще немно-

го, — преимущественно стихи, — Цветаевой, "Реквием" Ахматовой, стихи из романа Пастернака "Доктор Живаго", стихи В.Шаламова, Б.Слуцкого, Ольги Берггольц... Несколько позже — Мандельштам.

Наш экземпляр "Колокола" прочитало не меньше двухсот человек, — это одна из немногих рукописей, которая в буквальном смысле стерлась, — листы рвались, буквы уже невозможно было разобрать.

Новые попытки опубликовать "Колокол" начались в раннюю оттепель.

В 1954 году в "Литературной газете" было интервью с заведующим редакцией художественной литературы ИЛ Блиновым, — планы на следующий год. Среди книг, которые издательство было намерено напечатать, — он назвал и роман Хемингуэя. Посыпались, — так мне рассказывал Блинов, — возмущенные письма испанских и французских коммунистов. Испанцы еще жили в Москве.

Книгу из плана сняли.

После того, как Микоян побывал в 1959 году у Хемингуэя на Кубе, газета "Советская Россия"[70] сообщала, что роман "По ком звонит колокол", посвященный событиям в Испании и еще не издававшийся по-русски "...был переведен для редакции ленинградского журнала "Нева". Приводилась телеграмма, посланная журналом Хемингуэю: "Литературный журнал "Нева", открывший год окончанием романа Шолохова "Поднятая целина", от имени 121 тысячи своих подписчиков и многочисленных читателей просит вас разрешить[71] публикацию романа "По ком звонит колокол". Через сутки пришел ответ: "Очень рад, что вы печатаете роман. Лучшие пожелания. Хемингуэй". "Роман американского писателя будет опубликован в ближайших номерах "Невы".

Писатель радовался преждевременно. Как и все читатели.

В книге Льва Копелева "Сердце всегда слева" (1960 г.) четыре страницы посвящены роману "По ком звонит колокол". Еще с оговорками (...Размышления Джордана "типичные сомнения интеллигента, вызванные действительными и мнимыми противоречиями и недостатками, которые он наблюдал..."), но в основном с восхищением. Хемингуэй хорош прежде всего тем, что близок нам. Глава называется "От горизонта одного к горизонту всех" (Элюар).

На всех своих лекциях, — и специально посвященных Хемингуэю, и других, — я неизменно получала одну и ту же записку: "Почему не публикуют роман "По ком звонит колокол"? Когда он будет, наконец, опубликован?"

В начале 1963 года готовились отрывки из романа в "Неделе". Е.Д. Калашникова показывала мне корректуру.

Но и в декабре 62-го — начале 63-го года у нас наступили очередные заморозки. Две встречи Н.Хрущева с интеллигенцией, грубые нападки на В.Аксенова, А.Вознесенского, Е.Евтушенко, В.Некрасова, С.Щипачева, И.Эренбурга. Публикацию Хемингуэя запретили снова.

Политико-литературный барометр непрерывно колебался. Летом того же 63-го года советские и зарубежные участники дискуссии о судьбах романа были приглашены к Хрущеву на дачу в Пицунду. И там Александр Твардовский прочитал новый вариант поэмы "Теркин на том свете", запрещенный еще в 54-м году.[72] На следующий день поэму целиком напечатала "Известия".

Чаковскому тоже захотелось вступить на разминированное поле. Он опубликовал отрывок из сорок третьей, завершающей главы романа "По ком звонит колокол".[73] Тот самый отрывок о последних мгновениях жизни Роберта Джордана, который Эренбург читал в ВТО летом 42-го года. Из редакционной врезки: "Как мы уже сообщали",[74] Издательство Художественной литературы готовит к выходу в свет роман Хемингуэя "По ком звонит колокол".

Теперь на лекциях можно было цитировать хотя бы эпилог романа по "Литгазете".

Журнал "Звезда" напечатал мою большую статью "О революции и любви, о жизни и смерти" с подзаголовком "К выходу русского издания романа Хемингуэя "По ком звонит колокол" (№1, 1964 г.).

Цитаты из романа, приведенные в моей статье по самиздатовской рукописи, я выверяла в Гослите по чистым листам. Но и на этот раз выход русского издания не состоялся, роман был запрещен, и набор рассыпан. Руководители испанской компартии Долорес Ибаррури и Листер, их единомышленники решительно возражали в ЦК против книги.[75]

Статья моя успела проскочить в последний момент — еще неделя и было бы уже поздно. Из моей книги "По-

томки Гекклъберри Финна" (очерки современного американского романа, 1964), из главы о Хемингуэе вся вторая часть, посвященная "Колоколу", была снята цензурой.

Я назвала главу о Хемингуэе "Неизменная совесть". Это его слова "...совесть, абсолютно неизменная, как метр-эталон в Париже..." — одно из слагаемых, необходимых для писателя. Но эти слова вырваны мною, — конечно, неосознанно, — из его контекста и вставлены в иной, в наш тогдашний контекст. Начало шестидесятых годов в России. Просыпающаяся совесть, способность, оглянувшись, увидеть свою вину, свое участие в несправедливости, испытать раскаяние. Угрызения совести, муки совести стали в тот момент едва ли не самыми главными понятиями.

На самом деле словами "Неизменная совесть" можно было определить творчество, например, Короленко. Это мы, во всяком случае я, тогда вычитывала или вчитывала прежде всего совесть. Сумели же русские юноши полтораста лет тому назад, юноши, живущие в московских переулках, которые потом назовутся улицами Герцена, Огарева, Белинского, вычитывать у прусского верноподданного Гегеля алгебру революции...

Сегодня мне представляется, что для Хемингуэя понятие чести важнее, чем понятие совести.

Тогда мы все еще приближали Хемингуэя к нам, вместо того, чтобы приближаться к нему. Отчасти его собственный романтизм способствовал не адекватному, — сначала восхищенному, потом — разочарованному, но не трезвому взгляду на его творчество. Принимать его таким, каким он был, я научилась позже. Если научилась.

Идеализация возникла отчасти и как противостояние ниспровергателям — из недавнего прошлого и тогдашним.

Он был для нас долго истинным или мифологическим воплощением совести, справедливости, чести. Всего того, что у нас называется кодексом. И для малой группы читателей остался.

В моей первой работе о "Колоколе" тоже есть оговорки. Я шла еще по верхнему слою многоплановой книги.

В 1965 году роман вышел на русском языке, полностью, без купюр, — так называемым закрытым изданием. Номерным, — все экземпляры пронумерованы,

хранились только в сейфе, выдавались только под расписку, только тем людям, у которых был "допуск". Я видела в нашей редакции №82.[76]

В 1965 году журнал "Простор" (Алма-Ата, главный редактор И.Шухов) объявил о своем намерении опубликовать роман. Этот журнал много сделал для воскрешения затопленных материков культуры: опубликовал повесть "Джан" Платонова (снова пересеклись его пути с Хемингуэем), одну из лучших подборок Мандельштама, прозу Цветаевой. Но печатать "По ком звонит колокол" и этому журналу не разрешили.

К.Симонов неустанно пытался "пробить" роман. В марте 1967 года вышел номер "Зари Востока" с подзаголовком "Русские писатели Ташкенту". Весь сбор шел в фонд помощи жертвам землетрясения. В этом номере, в окружении Бабеля и Платонова, Мандельштама и Булгакова, Вс. Иванова и Юрия Казакова, Беллы Ахмадулиной и Булата Окуджавы была помещена и статья К.Симонова "Я ставлю на Ипполито...".

Он действительно любил роман "По ком звонит колокол", он всячески поддерживал достоинства книги. Но не забывал оговориться: "Джордан — "буржуазный гуманист... внутренне остается индивидуалистом и идеалистом..." Хемингуэй "...далеко не все знал и далеко не обо всем мог составить себе объективно верное представление".

Как и за тридцать лет до того был и расчет. Быть может, в данном случае, прежде всего расчет — "обернуть роман в вату", — чтобы его можно было напечатать. Усилия оказались не напрасными. Хотя в 1967 году роман снова отодвинули из-за совещания руководителей иностранных компартий в Москве, но в 1968-м году в третьем томе собрания сочинений Хемингуэя роман вышел. Кроме Константина Симонова (его статья из "Зари Востока" и стала предисловием) определенную роль за кулисами сыграл и Сантьяго Карильо. Быть может, по иронии истории книга Хемингуэя предвосхитила некоторые черты еврокоммунизма Сантьяго Карильо?

Том подписан в печать 24-го июля. До танков в Праге оставалось три недели.

Двадцативосьмилетняя тяжба "за" и "против" романа завершилась победой. Можно лишь гадать, кто же, наконец, взял на себя ответственность за положительное реше-

ние, каким образом одолели те, кто хотел издать роман.

Кроме причудливого скрещения разнообразных эмоций, воль, интересов, было и другое. Мне самой много лет подряд пришлось быть свидетельницей и участницей процесса, когда непривычное, чужое, в конце концов, ценою долгих усилий, — усваивалось. Кроме логических соображений, доводов, доказательств, — всего того, что идет по ведомству разума, в этом процессе присутствует иррациональное, — нечто подобное гипнозу, шаманству.

Сто раз повторишь имя "Фолкнер", глядишь, оно появляется сначала в издательских планах, а потом и на книжных титулах.

Вопрос, — когда же будет опубликован роман, задавали многим.

Менялась литературная карта: появлялись новые имена, новые названия.

Возникали и престижные соображения: во всем мире знают, а у нас не знают. Ведь множество людей стало ездить за границу, множество иностранцев, — в том числе и литераторов, — приезжать к нам.

Догмы заколебались. И если только толчки были достаточно сильными, да еще толкали лица у нас влиятельные, — то писатели и книги, недавно числившиеся "чуждыми", как-то вдруг, нечаянно, становились доступными и советским читателям. А дальше начинала действовать инерция, которой способствовало растущее равнодушие начальников, сменившее былую истовость.

Думаю, что в истории публикации "Колокола" сказались и события 68-го года, когда роман готовился к печати, когда ожили надежды на социализм с человеческим лицом. Ведь за тридцать лет до пражской весны многие идеалистически настроенные коммунисты (и не коммунисты, среди них и Роберт Джордан), верили, что сражаются за лучший мир, за истинное братство.

Впрочем, книга продолжала считаться "ограниченно годной".[77] То же издательство "Художественная литература" не включило ее ни в серию "Зарубежный роман XX века",[78] ни в 200-томную Библиотеку Всемирной Литературы.[79]

Да и критических статей, специально посвященных роману, так и не появилось, лишь рецензия В.Шевелева в журнале "Наука и религия",[80] правда, уже безо всяких

оговорок. Только с восхищением.

С.Микоян в очерке "Каким он был" называет роман "кульминацией творчества, вершиной мастерства".[81]

* * *

Хемингуэй по меньшей мере дважды разрешал печатать роман в СССР с купюрами.

Они не обозначены в русском издании отточиями.

Большая их часть приходится на главу 18-ю, — воспоминания Джордана об отеле "Гейлорд", где жили русские в Испании, и 32-ю.

Приведу примеры — купюры выделены курсивом:

"Если что-нибудь справедливо по существу, ложь не должна иметь значение. Но лжи было очень много. *Он ненавидел ложь. А позже ему это даже понравилось. Если ты внутри, ты не мог не лгать. Но это очень разлагало"* (229-354). (первая цифра — страница русского перевода, вторая — страница подлинника. — Р.О.)

Листер был по части дисциплины просто убийственен (в переводе: особенно строг насчет дисциплины).

Он был истинным фанатиком, он был наделен истинно испанским отсутствием уважения к жизни. В немногих армиях, со времен татарского нашествия на Запад, стольких людей пачками расстреливали, как в его частях" (234-359).

Мудрено ли, что Листер отчаянно противился изданию романа в СССР?

Джордан рассуждает об утрате наивности, невинности как об универсальном процессе приобщения к жизни. Кому же удается сохранить наивность?

"Разве что священникам, иначе они должны бросить все. Пожалуй, подумал он, и нацисты сохраняют ее и коммунисты, у которых достаточно суровая самодисциплина" (239-364).

Когда ты пьешь, или прелюбодействуешь, или изменяешь, то тем самым признаешь свою греховность, отступление от партийной линии, – этой замены апостольской веры (164-284).

Гейлорд показался оскорбительно роскошным и растленным. Но почему бы представителям державы, занимающим шестую часть мира

и не получать немного благ? Ну, что ж, они и получали (231-356).

В Испании столкнулись две силы, трагически противостоящие: только возникающая революция и революция, ставшая государством, вырождающаяся в бюрократическую и военную иерархию. Это столкновение тогда же было документально запечатлено Орвелом в книге "Дань Каталонии", а художественно — в романе "По ком звонит колокол". Столкнулись в сравнительно небольшой стране. И на огромной духовной территории, в неисчислимых дискуссиях в Европе и в Америке.

В моем тогдашнем сознании контрреволюционное государство воплощалось только во франкистах. Революцию же представляли республиканцы, но лишь "чистые", то есть без анархистов, без троцкистов, — и Интернациональные бригады.

В советских городах на больших площадях висели карты испанских фронтов, эти карты висели и в частных домах. Переставляя флажки, мы и не предчувствовали, что нам предстоит скоро переставлять иные флажки на картах с названиями своих городов.

Испанская революция, — как прежде русская, — была с самого начала чревата своей противоположностью. Гражданская война в Испании и террор 37-го года в СССР совпадали по времени.

Хемингуэй изобразил взаимное прорастание государства и революции. Возникающее новое государство воплощают Гольц, Карков, Марти, Пассионария, но и Эль Сордо, и Пабло, и, пусть по-своему, Джордан. Но они же воплощают и силы революции, — тот же Джордан, и те же Гольц, Пилар, Пассионария, Ансельмо...

Хемингуэй запечатлел взлет революционных надежд и иллюзий (когда они во всем мире были уже на спаде) и их крушение.

Испания стала полигоном, где испытывали не только оружие и тактику, но также идеи. Интербригады оказались явным анахронизмом, — империя в интернационале никак не нуждалась.

Меня и моих друзей в середине пятидесятых, после XX съезда прежде всего поражали картины бюрократического перерождения революции. Тогда эту книгу многие русские интеллигенты прочитали как художественное

воплощение того, о чем говорили, спорили едва ли не все мы: о средствах и цели, о цене политической борьбы и победы, о преступлениях и о лжи, о нашем стыде и нашем раскаянии, о тиранах и маньяках, вырастающих из вчерашних революционеров.

Начиная сознавать, что мы были в плену лживой, бесчеловечной идеологии, что мы долго были обманутыми и обманывали сами, мы судорожно искали иной идеологии, иной системы верований, необходимо включающей нравственные начала, правдивость и человечность. В пору этого острого мучительного кризиса многие из нас и открывали роман Хемингуэя, — не самый ли русский иностранный роман двадцатого века?

На Западе сразу после войны и разгрома фашизма широко распространились идеи экзистенсиализма. Писатели французского сопротивления Сартр, Бовуар и Камю "переводили" сложные идеи Кьеркегора, Хайдеггера, Бердяева на язык, доступный не только философам.

У нас в печати экзистенсиализм был сразу же заклеймен. (Фадеев в 1946 г. назвал Сартра "гиеной с пишущей машинкой"), тогда же, когда травили кибернетику и генетику, теорию относительности и формальную школу в литературоведении. А по существу экзистенсиализм пришел с романом "По ком звонит колокол".[82] Роберт Джордан, — едва ли не первый экзистенсиальный герой, с которым мы познакомились. До книг Сартра, Камю, Сент Экзюпери.

Одна из важных черт экзистенсиализма, — необходимость выбора.

Подобно герою античной трагедии каждый шаг Роберта Джордана есть шаг навстречу собственной гибели. Но в отличие от Рока, определявшего судьбу Эдипа или Агамемнона, герой Хемингуэя сам сознательно избирает свой путь.

Он — американец, — решил сражаться в Испании на стороне республиканцев. Сделав этот, основной выбор, он тем самым отчасти определил дальнейший путь. Но только отчасти.

Он мог отказаться взрывать мост, — генерал Гольц предоставил ему такую возможность. Но Джордан ею не воспользовался.

Он не пошел в штаб сам, хотя понимал: это было бы

гораздо целесообразнее для всех, чем посылать Андерса, и могло спасти жизнь ему и любимой женщине.

Даже в последние часы Джордан все еще выбирает. Уже зная, что с ним происходит, что надвигается, он берет труднейшее решение на себя. А как легко, как естественно было бы в этих обстоятельствах ему, тяжело раненному, предоставить решать за него любящей Марии, или Пилар, или даже Пабло...

Джордан стоит особняком в американской литературе сороковых годов. В книгах-сверстницах — в "Гроздьях гнева" Стейнбека, в "Сыне Америки" Ричарда Райта — поведение человека целиком определяется обстоятельствами, определяется позитивистской этикой, натуралистической эстетикой. Личного выбора нет. Каждый шаг предопределен.

Роберт Джордан руководствуется при выборе собственными нравственными понятиями, — кодексом чести. Для него этот кодекс включает интересы, благо малого сообщества — партизанского отряда. Это и есть для Джордана "мы".

Герой гибнет, подчиняя свое "я" этому "мы".

Гибнет во имя нравственного долга, не соразмеряя с ним ни самоценность своей жизни, ни целесообразность самой гибели.

Точнее — ощущая нравственный долг более важным, чем все остальное.

Заранее зная, что самопожертвование бесплодно (взрыв моста уже ничего не изменит), ты не можешь и не должен отступать.

Многие мои соотечественники, читавшие в то время роман Хемингуэя, проделывали путь от несгибаемых, ни в чем не сомневающихся героев Николая Островского, твердо знавших, "как надо", к мучительно рефлектирующим антигероям Сэлинджера.

На тех немногих страницах романа, где царит высокий стиль, те самые слова, которых так программно избегал Хемингуэй в книге "Прощай, оружие", есть зазор между героем и автором. Возвышенные ощущения, глубоко искренние, постоянно корректируются неким "вторым я".

"Ты чувствовал себя участником Крестового похода. Это было чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором так же неловко

и трудно говорить, как о религиозном экстазе". Сколько раз я на лекциях приводила этот отрывок и слышала благодарное, сочувственное молчание зала.

Думаю, что эти ощущения, именно так выраженные, разделили бы герои русской революционной литературы двадцатых годов Левинсон или Павел Корчагин. И им тоже было бы неловко об этом говорить.

Но ни один из них — из нас не мог бы отождествить себя с заключительной фразой этого отрывка: "Каким скучным дураком ты показался бы со всем этим у Гэйлорда".

Мне ни разу не пришло в голову процитировать эти слова. Я кончала всегда на "...ты мог бороться". А про "скучного дурака" — это понял бы, разделил бы Холден Колфилд. Или ироничные герои Аксенова.

...На сцене идет трагедия. А из-за кулис на минуту вылез шут, высунул язык, высказался. И реплика его — мудрая.

"По ком звонит колокол" — многоголосый роман. Постоянный диалог идет в душе самого Джордана. Он отнюдь не знает, "как надо". Перед смертью он с особой силой испытывает смятение чувств и мыслей. А ведет себя "как надо", однозначно.

Хемингуэй не требовал разрыва с дорогим понятием "мы". Наоборот: словами поэта, вынесенными в эпиграф, он настаивал: "Человек — не Остров..." Самоценность одной жизни не противоречит самопожертвованию во имя других.

Альтернатива любым формам добровольного или принудительного коллективизма — вовсе не замкнутость на своем "я".

Отказавшись от Николая Островского как от нравственной точки отсчета, не обязательно было начинать отсчитывать от Кафки и только от Кафки.

Людям, которые шли и пришли к Кьеркегору, к Камю, к тому же Кафке, к Бердяеву, предстоял еще долгий путь. Который, — если всерьез, — надо было не пробежать, а продраться к нему, выстрадать его.

Роман Хемингуэя стал для многих мостом через пропасть, образовавшуюся между нами и новой философией, новой литературой (и старой). Одновременно в России, как всегда, искали и находили свои, особенные пути.

Так у нас ключевое понятие романа, — мост, — обретало еще одно, вовсе не предусмотренное автором значение.

Но многие, пройдя, мост сожгли.

* * *

Доживают свой век те, кто запрещал роман, те, кто одобрял запреты. Их прежняя вера давно омертвела, они не хотят и не могут пересмотреть прошлое. Для таких "Колокол" и теперь еще — книга крамольная, числится в том же ряду, что и книги Солженицына и Владимова, Орвела и Кестлера, Войновича и Зиновьева.

Всякий раз, когда роман в очередной раз запрещали, нам, его сторонникам, казалось: в этом повинны Суслов, Поликарпов, Долорес Ибаррури. Они запрещают потому, что они догматики; полагают, будто Хемингуэй исказил образы коммунистов, верят тому, о чем писали ветераны Интербригад в 1940 году.

Теперь я понимаю, что у нас книгу запрещали и по другой причине: "Колокол" — одна из немногих высокоталантливых книг, написанных под влиянием революционных идей. Герой романа действительно поверил в революцию как в грядущий Крестовый поход против угнетения и несправедливостей. Эту книгу запрещали чиновники в стране, где давно восторжествовал кровавый термидор, давно утвердилось контрреволюционное государство. И для них неприемлемо не только правдивое изображение кровожадного фанатика Марти или Пабло. Для них гораздо страшнее любая бескорыстная самодеятельность, любая непокорная мысль, потому что они грозят их привилегиям, их косному благополучию. Лишь немногие советские люди, воевавшие в Испании, не попали потом в наши тюрьмы.

Но от романа в нынешнее время начали — и все более решительно, отходить и люди иных взглядов.

Все более сурово отвергая наше прошлое, все более радикально переоценивая события, идеи, деятелей "страшных лет России", многие интеллигенты разных поколений, становясь нетерпимыми фанатиками, склонялись к самым крайним выводам, спешили сжечь то, чему вчера поклонялись, поклониться тому, что вчера сжигали.

Жертвой стал и роман "По ком звонит колокол".

Одни увидели в Джордане глупого наивного мечтателя, другие — даже одного из западных союзников Сталина (Эдмунд Уилсон еще в 1941 году назвал книгу "сталинистской"). И они отвергли книгу, герой которой пусть только на время войны, — стал соратником коммунистов.

Те страницы, которые в течение четверти века служили доводами для издания книги, — именно они, — когда изменились времена, стали отталкивать.

А что до рассказа Пилар об избиении фалангистов республиканцами, или Марти, расстреливающий своих, или штабная неразбериха, которая, в конечном счете, обрекла на гибель и Роберта Джордана, и республику в Испании, — то такое ли творилось на Архипелаге ГУЛаг или у нас в начале войны. Такое ли испытал русский народ...

Так новая злоба дня сближала в неприятии романа людей противоположных мировоззрений. Тех, кто его прежде запрещал, и тех, кто его ныне отвергает.

По горькой иронии судьбы для многих читателей "По ком звонит колокол" оказался после 1968 года книгой, прочитанной не вовремя. Роман запоздал.

Пока в издательствах еще спорили, интриговали, исхитрялись, — как издавать книгу, — заполнялись другие "белые пятна" на наших литературных картах. Появились первые произведения Фолкнера, Вулфа, Фицджералда, вернулся старый Стейнбек, перевели его новые книги.

Начали публиковать у нас и американских писателей следующего поколения — Чивера, Капоте, Апдайка. И прежде всего, победительное всего — Сэлинджера.

Многое изменилось и в отечественной литературе.

"...Хемингуэя я уже читала как писателя моего сына. Думала: вот писатель, который формирует сына как писателя. Я очень ценю "По ком звонит колокол", но Хемингуэй тоже не мой писатель, он слишком "мужской", —

отвечала мне Евгения Гинзбург, автор "Крутого маршрута", мать писателя Василия Аксенова.

Критик Игорь Золотусский размышлял:

"...Знакомство с XX веком началось с Хемингуэя, которым все увлекались тогда (с ним соперничал Ремарк). Я очень полюбил его, он даже повлиял на мой стиль, отношение к вещам, это был кодекс мужественности, который опять-таки пришелся ко времени

и к моему личному возмужанию (мужали мы поздно). Больше всего люблю его рассказы, "Прощай, оружие" и "По ком звонит колокол". Позже я остыл к Хемингуэю как к художнику, поняв громадность Фолкнера и приблизившись к нему духовно и эстетически".

В романе "По ком звонит колокол" многие современные читатели находят сентиментальность, старомодные чувства, выраженные старомодными изобразительными средствами. Мир Хемингуэя, когда-то воспринимавшийся у нас как темный, изломанный, "декадентский", теперь кажется уже слишком ясным, романтичным, упрощенным.

Сегодня читателей все больше привлекают не настоящие мужчины, упрямые воины, сражающиеся за победу, а страдающие герои Достоевского, Сэлинджера, Кафки, Белля.

Пришло время жалости, характеров мягких, сострадательных, женственных, — противоположных веку-волкодаву.

Хемингуэй хотел сначала назвать свой роман "Не открытая страна".

Ее открывали у нас долго, медленно и мучительно. Открывали и то, что в ней действительно есть, и то, чего писатель в нее вовсе и не вкладывал.

Сегодня многим, прошедшим по этой стране кажется, будто открыто уже все. По-моему, это только так кажется...

VI. ЗА И ПРОТИВ

Любовь к Хемингуэю, которая каждому, ее испытавшему представлялась личной, глубоко скрытой, едва ли не интимной, оказалась на некоторое время всеобщей.

Один из полученных мною ответов мог бы стать своеобразным эпиграфом: "Как человек типический в типических обстоятельствах прошел героя Лондона (школьником), Хемингуэя (в зрелости) и с постыдным опозданием (перезрелым) приобщаюсь к Фолкнеру". — Юрий Давыдов, автор исторических романов.

Разгадку этой всеобщности и ее последствий, надо, видимо, искать и в феномене массового сознания. Хемингуэя полюбили очень многие и очень разные люди. Полюбили, подчас, по ложным причинам. И столь же внезапно,

едва ли не столь же неожиданно загадочно, — разлюбили.

Он победно завоевал, наконец, издательства, журналы, сцену. Но из внутренних миров начал уходить. Расставанье совпало с официальным признанием. Причинной связи здесь, по-моему, нет. Он уходил *не потому,* что стал официально признан, а *тогда.* Кончались шестидесятые годы — каждый читатель уже мог выбирать себе духовную пищу, — и русскую, и зарубежную, — по своему индивидуальному вкусу. Писателя, нужного тебе сейчас: это тоже величина переменная. Как и мы сами.

Время становилось трезвее. Трезвели и люди.

Три советских литератора выразили открытое неприятие.

Виктор Астафьев.

"Никогда не увлекался Хемингуэем и по сию пору до конца прочесть у него ничего не могу, он мне кажется автором шибко обычным и даже примитивным..."

То, что говорит о себе писатель, не всегда совпадает с объективным смыслом его произведений. Так, мне кажется, что в сложном творческом сплаве романа В.Астафьева "Царь-рыба" есть и следы единоборства с Хемингуэем, есть и следы повести "Старик и море", есть и спор.

Хотя писатели эти действительно далеки друг от друга.

Владимир Тендряков.

"Прославленные "классики" американской литературы Хемингуэй и Фолкнер для меня были и есть в высшей степени безразличны. На мой взгляд это весьма заурядные писатели и то, что они получили столь несоразмерную славу — явление по-своему знаменательное, подтверждающее упадок вкусов и требований в искусстве по сравнению с прошлым веком".

Более изощренно, туманно ответил *Петр Палиевский:*

"...попробуйте, например, сказать, что влияние Хемингуэя было отрицательным (в целом) — оглупляющим — созданием образа декоративного мужчины, в котором "честность" (еще как управляемая — потаканием) заменяет мозги. А ведь это многие из нас пережили лично..."

В статье "Америка Фолкнера" Палиевский формулирует определеннее:

"...За фигурой Хемингуэя открывается теперь Уильям Фолкнер. Такое перемещение интереса, разумеется, умалить никого не может. Вершины остаются вершинами и, выходя на расстоянии одна из-за другой, только ярче обрисовывают направление и свой особенный тип. Но нынешнее настойчивое внимание к фигурам недавнего прошлого говорит иное — что современные писатели, несмотря на технический блеск, удовлетворительного образа Америки дать не могут".[83]

Ю. Нагибин пишет:

"...Это все тот же Хемингуэй, чья "Фиеста" кружила нам головы на заре туманной юности и разочаровывала нас в зрелые годы..."

Андрей Битов называет Воннегута, Набокова, Маркеса, — писателей, повлиявших на него. Хемингуэя нет. Такое отсутствие быть может для сегодняшней судьбы американского писателя в России показательнее, чем открытое отталкивание. В романе Битова "Пушкинский дом" упоминания о Хемингуэе — преимущественно отрицательные. Возражу, впрочем, и Битову: в его первых рассказах тень Хемингуэя ощутима явственно.

Чаще, однако, не изначальный отказ, а — у писателей среднего и старшего поколений, — *процесс* отхода. Процесс, происходящий вместе с движением нашего общества, нашей культуры.

Анатолий Злобин (год рождения 1923).

"Открытие Хемингуэя было истинным откровением. В первые послевоенные годы Хэм казался мне последним и абсолютным этапом в развитии языка, а его герои (особенно героини), рисовались недосягаемым идеалом человеческого духа и плоти. Впоследствии отношения с Хемингуэем сделались более сложными... Когда-то я сам в своих писаниях невольно пытался подражать Хемингуэю, а теперь почти забыл его и даже думаю, что Хемингуэй во многом является раздутым писателем. Значение его уже достаточно упало, вероятно, этот процесс будет неизбежно продолжаться и далее, хотя "Колокол" останется прекрасной книгой"...

Майя Туровская.

"...Ошеломляющее "открытие" из области американской литературы — первые издания Хемингуэя (38 рассказов и "Пятая колонна") и, в особенности, "Фиеста". Где-то в возрасте 14-15 лет это была

моя самая любимая книга... Одной из первых книг, прочитанных по-английски, был, разумеется, тот же Хемингуэй — "По ком звонит колокол". Может быть поэтому, очень хорошо помню не столько долгое и очень сильное пристрастие к этой книге, но и первое (тайное) раздражение по поводу стиля Хемингуэя, которое намного позже (не без помощи Сэлинджера) перешло в отталкивание от философии "настоящего мужчины" вообще (что не относится к хемингуэевскому стоицизму). Хемингуэй, как, наверное, у всех людей моего поколения, — долгая и важная полоса жизни".

Инна Варламова.

"...Но вот на моем горизонте взошел Хемингуэй. Он именно взошел, как восходит светило... Лишь постепенно стало несколько спадать очарование, я бы даже сказала — наваждение от этих миров, вернее, наметились их границы. Выше ч е г о - т о не поднялся, увы, и Хемингуэй. Он мог научить меня мужеству, мог научить достоинству, он мог научить к а к жить, но не давал ответа — зачем. И мне он стал узок. Я люблю его и сейчас. Но больше уже по привычке. Чуточку сентиментальной привычке."

Повторю: к прежнему кумиру охладели. Быть может, и потому, что мучались невысказанным своим, тем, что чужое принимали за свое.

"То, что с хемингуэевским текстом произошло превращение, и там, где видели скрытую глубину, ее не оказалось, — это выявлено временем до самоочевидности", — утверждают Д. и М. Урновы в уже цитированной работе.

М. Рощин, учившийся писать по "Старику и море", признается:

"Но странно! Сейчас я не могу прочесть и десяти страниц из Хемингуэя: его скрытый романтизм, его вера в суперличность, его "или быть или не быть" пришли, видимо, в противоречие с моим собственным опытом и наблюдениями над жизнью и человеком. Хемингуэй все-таки хорош для юношества и останется хорош для юношества, — так мне теперь кажется, — но после него должно быть что-то другое.

Этим другим, этой следующей ступенью был для меня Фолкнер".

Оттеснение Хемингуэя Фолкнером, столь часто возникающее в статьях и ответах, для меня неоднозначно помечено плюсом.

Фолкнер входил в нашу жизнь труднее, чем Хемингу-

эй. Вместе с моими коллегами и я "внедряла" его, радовалась тому, что его книги завоевали часть читателей.

"Моим" писателем он не стал. Власть Фолкнера означает для меня не столько следующую (в смысле восхождения) ступень, но иную.

Владевшая предшествующей эпохой, — и Хемингуэем, — мечта о братстве мне продолжает быть близкой. Фолкнер не только не обещал братства, — он, в сущности, утверждал его изначальную невозможность, неосуществимость.

Юрий Трифонов не изменил любви:

"...все... пристрастия и увлечения померкли перед одним, вспыхнувшим внезапно после войны, когда я учился в Литературном институте, твердо решив стать писателем. Мы все, студенты Литинститута конца сороковых годов, умирали от безнадежной любви к Хему, как мы называли его запросто. Да, безнадежной, ибо она не сулила нам ни выгод, ни плодов. Директор института Ф.В. Гладков[84] на семинарах восклицал грозно: "Я вам покажу, как подражать этому п р е с л о в у т о м у Хемингуэю!"

Хемингуэй изумил не содержанием, а методом.

Вроде бы ни о чем, а в то же время о многом. Вроде без конца и без начала, но конец и начало не нужны. Вроде нет ни портретов, ни описаний душевного состояния, ни харатеристики, но — люди необыкновенно живые... Какая скудость диалогов, какая обрывочность, какие чепуховые темы, какая бескрасочность ремарок: "сказал", "сказала", "сказал", "сказала" — и какая правда в разговорах людей!

Этот писатель наряду с Чеховым и, может быть, Буниным, оказал на меня очень сильное влияние. Я долго ходил под его чарами. Потом это понемногу стало рассеиваться. Но, по-видимому, не рассеялось до конца и осталось в моих костях, в составе моей крови — литературной, разумеется, — довольно значительным моментом. Впрочем, настало время, когда я стремился отталкиваться от него, но это и значило, что он продолжал существовать где-то вблизи. В последние годы я слышал много пренебрежительных и иронических замечаний о Хемингуэе у нас в стране и на Западе, видел насмешливые улыбки снобов: "Неужели Вам нравится Хемингуэй?" Я должен был конфузиться и чувствовать себя старомодным и недостаточно интеллектуальным господином, польстившимся на ширпотреб. Но я не конфузился. Да, Хемингуэй вышел из владений снобов и в каком-то смысле передвинулся в область ширпотреба.[85] Однако это удел всех классиков, от Сервантеса до Толстого. Отсвет ширпотреба — та мзда, которая взимается за всемирную популярность.

Мне кажется, Хемингуэй — один из немногих писателей, сумевших создать волну в этом бескрайнем море, называемом литературой''.[86]

Мысль Трифонова ''...изумил не содержанием, а методом'' представляется мне важной, точной.

Американская журналистка Ольга Карлейль, видевшая Пастернака незадолго до его смерти, так передает разговор с ним о Хемингуэе: ''Величие писателя совершенно не зависит от содержания, только от того, насколько содержание затронуло писателя. Это отражается в плотности стиля, благодаря этой плотности в книгах Хемингуэя чувствуешь саму материю, — железо, дерево... Я восхищаюсь Хемингуэем, но предпочитаю те книги Фолкнера, которые прочитал''.

При этом, естественно, выяснилось, что иное содержание необходимо требует иных изобразительных средств.

Быть может, одна из первых трещин в отношении советских читателей к Хемингуэю возникла, когда снова появились подражатели. Среди них были и хорошие писатели (ранний Виктор Конецкий или ранние книги братьев Стругацких), и средние, и — во множестве — плохие.

В редакции одного серьезного журнала возник замысел статьи ''Хемингуэй и хемингуисты''. К сожалению, замысел не был реализован. Покойный Виталий Семин во внутренней рецензии на книгу молодого писателя говорит: ''...копирование Хемингуэя в романе пародийно''.[87]

Василий Аксенов так описывает прощание с Хемингуэем:

''...Сегодня, — медленно и раздельно проговорил Мимозов (малоприятный персонаж. — Р.О.), сегодня из всех этих жековских и кооперативных домов весь научный персонал среднего поколения вынесет на свалку всех своих хемингуэев. Не смешите меня своим хемингуэем, хотя он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами — сколько лет он у вас висит?

Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды в ночном экспрессе и ты мне рассказал со страниц довоенной ''Интернационалки'' нехитрую историю про кошку под дождем. Прощай, прощай, Хемингуэй, солдат свободы! Прощай, мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть из меха вино. Прощай! Я прощаюсь не только с тобой, но и с твоим лихим солдатским, веселым юным алкоголем. Увы, нам уже не опередить армию и я забуду твою

науку любви, ту лодку, которая уплывает, и науку стрельбы по буйволам, и науку моря, науку зноя и партизанского кастильского мороза.

Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половины Ха-Ха, седобородый Чайльд, прощай! А, ведь я полагал когда-то с ознобом восторга, что мы не расстанемся никогда..." ("Золотая наша железка")

Аксенов прощается со своей молодостью; — книги Хемингуэя, — непременная часть этой молодости, прощается со своим поколением, прощается с шестидесятыми годами...

Борис Пастернак писал в поэме "Зарево" еще в период массового увлечения запрещенным Хемингуэем:

Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б с позволенья вашего
И мы бы как Хемингуэй и Пристли.[88]

Необычная для Пастернака полемическая упрощенность. Но в этих строках проступала важная мысль: Хемингуэй выражал *то* (не *как*, — в этом не соглашусь с Пастернаком), что не позволяли выразить советским писателям, или они не позволяли себе сами.

Хемингуэй пленил подлинностью, к которой всегда стремился и в лучших своих книгах достигал ее. К подлинности стремились настоящие писатели и у нас.

Вениамин Каверин спрашивает: "Почему Хемингуэя так много читают у нас? Ведь, в сущности говоря, он очень далек от тех интересов, которыми живет советское общество и которые, — хорошо или плохо, — отражены в нашей литературе". Он говорит о точности американского писателя.

В конце Каверин цитирует строки из рассказа "Снега Килиманджаро" и честно признается — в некотором противоречии с формулировкой своего вопроса: "О ненаписанных книгах, о ложно прожитой жизни подчас приходится думать и нам".[89]

Книги Хемингуэя ворвались в царство мнимостей, утвердившееся у нас в тридцатые годы. И начавшее, — только начавшее разрушаться — в шестидесятые.

Процитированной строфе Пастернака предшествует:

В искатели благополучия
Писатель в старину не метил...

Пастренак говорил одному из своих младших друзей в 1956 г., что ''Пятую колонну'' не принимает и не понимает, как Хемингуэй мог такое написать''.

Думаю, что автора ''Доктора Живаго'' отталкивало не только то, что ему казалось, — и не без оснований, — романтизацией революционных средств (вплоть до службы в контрразведке), но и постоянное тяготение героя (пусть не воплотившееся, им самим преодоленное) к Сент Тропезу, к благополучию, к роскоши, к тому, что десятилетие спустя называли ''Сладкой жизнью''...

Сегодня яснее, что Хемингуэй, так органично усвоивший русскую культуру, оставался все же во многом чужд одной из ее важных традиций, традиции Толстого.

''...все несчастье происходит не от недостатка, а от излишества'', — думает Пьер Безухов в плену. Сколько раз Толстой обращался к мысли, которая позднее владела Блоком

...что счастья и не надо было
Что сей несбыточной мечты
и на полжизни не хватило.

или

Все на свете, все на свете знают
— Счастья нет...

Это общее ощущение роднит двух очень разных русских писателей: не хорошо, стыдно быть счастливым, когда в мире так много горя, когда так многие несчастливы...

Вяч. Вс. Иванов вспоминал слова Б. Пастернака: ''Я люблю Хемингуэя как обыватель. Но когда я иду к письменному столу, то чувствую: мы с Анной Андреевной — братья-каторжане''.

Хемингуэй не погружается в страдание, не стремится осмыслить его философски. Он вытесняет горе порою почти механически, как Ник Адамс, один из первых его героев, вытесняет воспоминания о прошедшей войне. (''На Биг ривер'').

* * *

В конце тридцатых годов одновременно стали запретны Пруст и Бабель, Джойс и Пильняк, Хемингуэй и Булгаков, Мориак и Джон Рид. Писатели, ни в чем не сопоставимые, ни идейно, ни художественно, ни в чем не похожие друг на друга, — кроме того, что вместе подверглись запретам.

Возвращаться они начали тоже вместе.

Спокойному читательскому разбору и отбору мешало постоянное вмешательство литературного начальства, проработочные статьи.

Первый, естественный порыв — порыв простой справедливости был, — принять все ранее запрещенное, а до этого, — у многих работников редакций и издательств, — издать все, ранее лежавшее под спудом.

Принять с тем перехлестом, что свойственен выпрямлению. Но, как и пребывание в тюрьме отнюдь не служило свидетельством личных и гражданских достоинств, так и прежний запрет книги не превращал ее автоматически в хорошую, в нужную новому времени.

Не все, оттаявшее в оттепель, оказалось нужным. Не все и не в равной мере.

* * *

Советская и американская социологическая критика тридцатых годов охотно отмечала, что действие большинства книг Хемингуэя происходит вне Америки (он, мол, не принимает буржуазных порядков!)

Его космополитизм, его внешняя беспочвенность (на самом деле он писатель глубоко американский), — одна из важных причин того, почему время, когда каждая нация заявляет о себе, каждая нация стремится не только самовыразиться, но и обособиться, — не время Хемингуэя.

Ему нужен был весь мир.

Фолкнеровская почтовая марка стала основой великой саги Йокнапатофы. И откликается в той, длящейся и ныне полосе в нашей словесности, когда писатели один за другим возвращаются, находят, открывают свои владимирские проселки.

Майя Каганская в очерке "Внебрачная ночь или семи-

десятые годы" вспоминает:

"1970 год я встречала в Москве, в милом, дружественном доме, в котором после длительного перерыва обнаружила только одно, но знаменательное новшество: большой портрет Хемингуэя был заменен того же формата и качества портретом Фолкнера и, поскольку то был уже не первый дом, в котором такую замену произвели, отнестись к ней следовало с абсолютной серьезностью: в России смена литературных вкусов свидетельствует о тектонических сдвигах сознания, психологии, мировоззрения...

Что означал конец "романа" с Хемингуэем? Что означал сам "роман"? В нем участвовали: текст с подтекстом; айсберг...; немножко иронии и немножко эротики... Индивидуализм напрокат, трагизм в рассрочку, приправленный обрывками и ошметками отечественной романтики; бригантина с гриновскими парусами и дырявым днищем из стихов Павла Когана...

...Да только фолкнеровская ночь, как и прошедший, изжитый уже хемингуэевский полдень—не твои, переводные они, заемные..."[90]

Фотографий Фолкнера я нигде не видела. Но замена портретов действительно произошла. Она засвидетельствована во многих ответах.

Единственное слово на нужном месте, которое мучительно искал и часто находил Хемингуэй — не умирает.

Это слово оказало огромное воздействие и в самой Америке, и за ее пределами, — в Италии и во Франции, в Германии и в странах Латинской Америки. В каждой стране отношения строились по-своему. Но нигде, кажется, с такой мерой страсти, с таким натяжением полюсов: лучший, единственный, незаменимый, всехний; а после ниспровержения, — заменимый — замененный Фолкнером, ничейный, перешедший в ширпотреб.

От маленького сборника "В наше время" 1924 (32 страницы, тираж — 170 экземпляров), до посмертно изданного романа "Острова в океане" менялся и сам Хемингуэй. Но еще в большей мере изменилось, неузнаваемо изменилось самосознание нашего общества. Отношение к Хемингуэю, — один из показателей произошедших, происходящих изменений.

Его произведения читателям вернули. Осталось разве что восстановить купюры,[91] да издать книгу "Смерть после полудня".

Но, что же означал сам "роман" с Хемингуэем? Нет ли в этом нашем "романе" чего-то более существенного,

чем "ошметки", увиденные М. Каганской? Нет ли некоей модели русских "романов" с другими иностранными писателями, и даже выскажу предположение, — нашего русского романа с Западом?

Сначала безоглядно влюбиться: "...прочитал на прилавке, не мог оторваться... Читала при свете коптилки в халупе за кладбищем... и, вот, надо мной взошел Хемингуэй... Историей был поражен настолько, что не пытался сперва и понять... Книга столь же совершенная, как "Хаджи Мурат" — разные люди, разные времена, разные судьбы, а эмоции — сходны удивительно. Как и мое собственное отношение.

Вчитать свое. Принять за свое. Дополнить недостающее в своей жизни и литературе: "писали б с позволенья вашего и мы бы как Хемингуэй и Пристли". Вымечтать в русской изолированности почти мифологического писателя. Романтизировать.[92] А потом разозлиться на себя и на "предмет" бывшей любви. И начать разоблачать.

Не так ли уже второе столетие русские пророки разоблачают мифологический романтизированный Запад?

Предают анафеме отчасти и за то, что реальный Запад не похож на воображаемый.

Вероятно, рано или поздно наступит прозрение и о Фолкнере: окажется, что это великий писатель, именно потому что великий, не умещается ни в какое знамя, ни в какую хоругвь. В том числе — и в хоругвь нового почвенничества. Но это иная тема.

Смена литературных вкусов у нас действительно сдвиг тектонический. Оползень. Причины — не явные — весьма далеки от следствий.

Обращусь еще к некоторым частным проявлениям сдвигов.

Для русских читателей Хемингуэя в конце тридцатых годов парад яхт в книге "Иметь и не иметь" вызвал прежде всего классовую солидарность ("мы — всегда с теми, кто не имеет"), и самоудовлетворенность ("у нас уже нет и не будет такого", как поется в пародийной песне). Само слово "яхта" было столь же потусторонним, сколь и "бар". Многие воспринимали эти гневные картинки как своего рода экзотику.

А сегодня это есть и в нашем обществе. У немногих, — в реальности, у огромного числа — в стремлениях, в мечтах.

В любви к Хемингуэю была и тайна.

Когда яхта стала реальной яхтой, когда ушла тайна, когда Хемингуэй к нам приблизился, — он и невероятно отдалился.

Утверждая, что "земля пребудет вовеки" ("Американцам, павшим за Испанию"), Хемингуэй выражал чувства людей, складывающиеся на протяжении полутора тысячелетий. От Экклезиаста до середины двадцатого века.

А сегодняшние читатели не могут не спрашивать тревожно, — вовеки ли?

Беспредельность кончилась, — на землю посмотрели извне.

Беспредельность кончилась, — истощается флора, фауна и сама земля.

Когда стрелял охотник Макомбер, нам было сначала стыдно за его трусость, потом жаль, — едва он обрел мужество, его убили. Мало кто жалел льва. Мало кто отождествлял себя с быками или с большой рыбой.

А "...ныне стало вдруг очевидным, что приручить льва и сделать его своим другом — больший подвиг, чем привезти домой его продырявленную шкуру, и что возвращение к природе, быть может, следует понимать как-то иначе, — как изучение и охрану".[93]

Исчезают львы, нефть, лес. Какое там "навеки"? Хватит ли еще нашим детям, нашим внукам?

Вот заботы, объединяющие семью, выехавшую подышать в воскресенье за город (консервные банки, загрязненная вода, забитые дороги), государственных деятелей в комиссиях ООН, политические партии, — "зеленых", например.

Воспетые Хемингуэем охотники, рыболовы, воспетые как естественные люди, противостоящие порочной городской цивилизации, — да могут ли они сегодня восприниматься как герои? Те, кто и не знает слова "экология", ощущают: надо всячески ограничивать сферу их деятельности.

Изменился шум времени, его цвет и объем. Изменился с такой быстротой, непредвиденностью, неотвратимостью, что мы, жившие в предшествующую эпоху и продолжающие жить сегодня, — подчас не узнаем, не можем воспринять это "сегодня", так же как следующему поколению трудно воспринимать "вчера".

Отход от Хемингуэя — одна из примет крушения эпохи. Гибель великой иллюзии. Не только коммунистической. И гуманистической. Джордан в воспоминаниях о Гейлорде кажется себе отъявленным циником. А он идеалист чистой воды. Теперь же действительно настало, — так кажется мне, — время циников, когда байронизм может восприниматься разве что с иронией.

Детство Эрнста Хемингуэя прошло в мирное время. (Период между двумя войнами, кажется, никому и в голову не приходило назвать мирным.) Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, отец писал ему: "...Я так доволен и горд, что ты растешь прекрасным и мужественным парнем, и верю, что твое развитие и дальше будет гармоничным, будет соответствовать нашим высоким христианским идеалам".

Христианские идеалы сильно зашатались, о гармонии и вовсе трудно говорить, однако, отблеск той веры сопровождал Хемингуэя едва ли не до последних лет.

Когда началось наше расставание с Хемингуэем, появися телевизионный спектакль "Острова в океане", постановка Анатолия Эфроса (ноябрь 1978 г.).

...Если бы мне лет пятнадцать тому назад сказали, что Хемингуэй появится на телевизионном экране, — как я обрадовалась бы! И как мне горько было слышать голос великолепного актера Михаила Ульянова, повторяющего вопреки стилю, инотонациям Хемингуэя, — повторяющему надсадно: "...Меня звали Томас Хадсон... Меня звали Томас Хадсон..."

Постановщик Анатолий Эфрос, разумеется, имеет право на свое видение. Можно перечислять объясняющие (они же в моих глазах, смягчающие) обстоятельства; Эфрос выбрал самый слабый роман, автор не случайно не публиковал его, хотя и в нем есть блистательные страницы, либо опущенные, либо неузнаваемо измененные в фильме. Это вообще не Хемингуэй, это — "по мотивам Хемингуэя" (к сожалению, так не сказано). Телевизор неизбежно придает иное измерение: упрощает, уплощает, огрубляет.

Все так.

Но, — те, кто не читали, — едва ли захотят прочитать.

Те, кто не любили, скорее всего и не полюбят.

Те, кто любил и разлюбил (смотри выше), кто начал

разлюблять, — те испытают удовлетворение, найдут опору. Быть может, испытают и недоумение, — неужели мы любили ЭТОГО?

А те динозавры, кто продолжают любить, те разделят, — так я думаю, мою боль.

После того, как я все это написала, я прочла книгу Анатолия Эфроса "Профессия — режиссер" (1979 г.) Автор посвящает Хемингуэю много страниц, проникнутых истинной любовью.

"...нужно читать Хемингуэя, который был моден, а потом стал не моден, ибо нет все же ничего лучше, чем *простая нормальная правда*" (стр. 366).

На слово Эфросу-литератору я поверила. Эфрос-режиссер сказал мне (и не только мне) нечто иное.

По-разному видим, по-разному любим, по-разному понимаем это весомое, курсивное "простая нормальная правда"...

Каждый раз, когда я узнаю о людях, бесстрашно противостоящих вооруженным негодяям, — противостоящим не в переносном, а в буквальном смысле слова,

когда от тебя требуется мгновенный выбор: жизнь или честь, рисковать своей жизнью или чужой ("чужой" может оказаться, например, и жизнь любимой девушки),

когда надо на улице, в темном подъезде, в джунглях современного города поступить так, как положено мужчине (но, как мужчины не всегда поступают),

я думаю о том, что время Хемингуэя, — не как сравнительно малый отрезок, — а как Время историческое, не истечет никогда.

* * *

Процесс, происходивший у нас полвека и специфичен, и универсален. Русское понятие "властитель дум" непереводимо на английский язык. Но Хемингуэй в свои вершинные периоды был и для многих американцев не только любимым писателем, но тоже своеобразной моделью поведения.

"...в течение многих лет его произведения больше воздействовали на молодых думающих американцев, чем труды любого философа", — писал Малькольм Каули.

"Бесспорно, именно он создал мое поколение — он

внушил нам, чтобы мы в дурно устроенном мире вели себя мужественно, и были бы готовы умереть в одиночку", — признается писатель Норман Мейлер.

Эту роль он почти утратил к концу жизни, — утратил в Америке раньше, чем у нас.

Болезненно ощущал эту утрату. Совершал иногда поступки, противоречащие выработанному им же кодексу, чтобы ее возместить.

Насильственная смерть была главной темой Хемингуэя с самого начала, потому название первого русского сборника "Смерть после полудня" по-своему оправдано.

В молодости он сам и его герои были готовы встретить смерть бесстрашно.

С течением лет это становилось все труднее.

Уже полковник Кентуэлл жалеет себя (роман "Через реку и в тень деревьев" написан сразу после одной из катастроф, едва не кончившейся гибелью писателя). Еще больше жалеет себя Томас Хадсон.

Советский критик Л.Осповат заметил, что Хемингуэя в этом отношении можно сравнить с Буниным.

То же отвращение к своему вянущему, дрябнущему, рассыпающемуся, — а прежде — столь прекрасному, столь любимому телу. Та же зависть к молодости (порою переходящая в ненависть). Нет смирения перед неизбежным. Страх оказаться (и показаться) смешным. Чем ближе к старости, тем сильнее ужас тлена.

Победитель не получил ничего и перестал быть победителем.

В последнее десятилетие Хемингуэй создал новый образ самого себя, — "ПАПА". Подчас казалось, что он озабочен этим не меньше, чем созданием своих новых книг. Это не каприз, и не склонность к саморекламе (оговорюсь, — не только страсть к саморекламе). Это естественное внутреннее развитие писателя романтического типа, если он, подобно Байрону, — не погиб молодым.

В восприятии своих соотечественников Хемингуэй постепенно становился классиком. Переход этот совершался относительно плавно (по сравнению с тем, как подобный же процесс происходил у нас). В предисловии к сборнику "Хемингуэй. Пять десятилетий в критике" (в 1954 и в 1964 гг. были изданы подобные сборники "Три", а затем "Четыре десятилетия критики") утверждается:

"Ни одного американского писателя не читают столь широко..."

Его произведения переведены на 33 языка. За пятнадцать лет (1959-1974) о нем опубликовано 500 работ. Литература о Хемингуэе давно многократно превышает написанное им самим.

Однако, в том же сборнике встречаются такие свидетельства: "...статут Хемингуэя понижается...", "молодые люди полагают, что его книги недостаточно экзистенсиальны..."

После его гибели (его смерть стала столь же точным эпилогом к его жизни и к его книгам, сколь и постоянно искомое им слово), ему естественно стремились отдать должное.

Однако, вскоре полился поток воспоминаний, преимущественно "разоблачительных".

Рассказ Рэя Бредбери "Попугай, который знал Папу",[94] воплотил это явление в сгущенной, гротескной форме. Вопреки редакционному вступлению, сатира направлена не только против мемуаристов (брат и сестра, последняя жена и сын, бармен и друг юности, имя им — легион), но и против самого писателя.

В первом номере "Иностранной литературы" за 1979 год напечатан перевод книжки Олдриджа "Последний взгляд". Об этом не стоило бы упоминать, если б и ее публикация не подтвердила бы все того же процесса — расставания с прежним кумиром. (Сам Олдридж в молодости, когда он еще подавал известные надежды, был одним из бесчисленных подражателей Хемингуэя). Автор касается трагического эпизода — дружбы-вражды Хемингуэя и Фицджералда. Сложная психологическая драма выглядит, как фарс на потребу обывателю.

И, если несчастного Фицджералда еще можно, при известном напряжении, — вообразить за письменным столом, то мужлан, боксер, выведенный под именем "Хемингуэй", уже не обладает ни одной чертой писателя.

Вероятно, у каждого из мемуаристов есть страницы, эпизоды и целые разделы книг, соответствующие реальности. Хемингуэй бывал *и таким*. Есть подобные черты и в сатире Бредбери и даже у Олдриджа.

Но, если в этом сложном человеке не было ничего, кроме сплава зависти, жестокости (особенно по отноше-

нию к близким), похоти, алкоголизма, стремления к смерти, — остается задать вопрос, — кто (или что) написал лучшие страницы его прозы, завоевавшей мир? Какой человеческий опыт продиктовал "Прощай, оружие", "По ком звонит колокол"?

Подчас кажется, будто мир, в котором начиналась моя жтзнь, и тот, в котором жизни предстоит кончиться, отстоят друг от друга бесконечно далеко.

Это и так и не так.

Мы потому можем отождествить себя с Антигоной и с Ахиллом, с Ярославной и князем Игорем, с Роландом и Пенелопой, что всегда, во все времена, и сегодня тоже, люди рождались и умирали, любили и предавали, воевали и оставались верными, были храбры или трусливы, жадны или щедры, добры или злы.

Это, вероятно, неистощимо и, действительно, вопреки всем изменениям "пребудет вовеки".

Американский писатель Джон О'Хара предполагал, что "Хемингуэя будут читать, пока люди вообще будут читать".

Между тем за последние полтора десятилетия Хемингуэя читают меньше.

Но свечение слов, произнесенных писателем с мировым голосом — длительное, многолетнее, а то и многовековое. Если это честная проза о человеке, — она переживает спады, разочарования. То, что чуждо детям, может оказаться близким внукам...

Слова, написанные в парижских кафе, в американских городках, в Ки Уэст, в Кетчуме, в испанском отеле "Флорида", в "Финке Виджия" около Гаванны, — слова, как и мечтал их создатель, "не портятся от времени".

Думаю, что эти слова услышат и новые русские читатели на каком-то новом витке нашей истории.

Шекспира не читали почти сто лет. Мне представляется, что и у Хемингуэя в запасе вечность. Если же окажется, что я не права, то и сделанного им — достаточно.

Жаль, что нам, свидетелям и участникам полувекового романа, самим не придется в этом удостовериться.

1978 — 1979 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В 1928 г. Хемингуэй был впервые упомянут в советской печати.

2. Везде, где отсутствуют ссылки на газеты и журналы, я цитирую присланные мне ответные письма. Они хранятся в ЦГАЛИ.

3. Набоков называл Хемингуэя "пистелем для юношества". "Прочитал нечто... о колоколах, кабаках, быках (в подлиннике, — аллитерация. — Р.О.) и мне это было отвратительно". Однако признавал: "у него по крайней мере свой голос". Высоко ценил рассказ 'Убийцы", "великолепную повесть "Старик и море". См. "Strong Opinions", 1973, p. 18, 42, 80.

4. В 1933 г. американский критик Федимен назвал Хемингуэя новым Байроном. "Байроном XX века" назвал его и Ван Вик Брукс в некрологе.

5. Хемингуэй признавался, что среди книг, которые ему хотелось прочитать словно впервые были "Записки охотника", "Война и мир", "Анна Каренина", "Братья Карамазовы".

Важная тема — Россия для Хемингуэя, — выходит за рамки моей работы.

6. Письмо П.П. Крючкову 9 марта 1928 г. Посылает "La Revue Europeenne", транскрипция имени еще Гэмингвэй.

7. И. Романович, один из переводчиков первого сборника, в 1937 г. был арестован. Имя его не восстановлено и в изданиях после 1956 года.

8. По данным М.Мохначева общий тираж произведений Хемингуэя в СССР к 1960 г. был 1.200.000 экз. "Известия", 18 окт. 1960 г.

9. "Литературная газета", 18 окт. 1934 г.

10. Хемингуэя у нас изучали и продолжают изучать. Появление его книг сопровождалось статьями и рецензиями (263 названия по библиографии В.А. Либман "Американская литература в русских переводах и критике", М. 1977).

В книгах, статьях, диссертациях советских американистов исследуются отдельные произведения и периоды творчества. Элементы стиля; ирония; роль повествователя; художественное время; язык. Если эти работы замкнуты на особенностях творчества Хемингуэя, то они выходят за рамки моей темы вне зависиомсти от их научно-художественного уровня. Как наука о литературе вообще, так и изучение Хемингуэя, включает особый раздел: взаимосвязи. Хемингуэй в СССР. Небольшой частью эта тема входит и в мою

работу. Но именно небольшой. Ей посвящена содержательная статья И. Финкельштейна "Советская критика о Хемингуэе" ("Вопросы литературы", 1967, №8).

Я пишу только о тех переводчиках, критиках, биографах Хемингуэя, которые *не могли* о нем не писать. Критерий отбора, разумеется, субъективный, как, впрочем, и все, что написано здесь.

11. "Послесловие" к этим опытам, — на одном полюсе благородное движение Мартина Лютера Кинга с его трагическим концом. На другом — разные секты, — в том числе изуверские, террористические, самоубийственные, подобно "Народным храмам", погубившим в 1978 г. сотни людей в Гайане.

12. Прав был Эдмунд Вильсон, говоря в письме к русским по поводу Хемингуэя: "Индивиды в России продолжают терпеть поражения. Они продолжают горевать и страдать..." (11 дек. 1935 г., "Нью Рипаблик").

13. В статье, опубликованной после смерти И.А. Кашкина (1963), подводящей итоги его работы, справедливо сказано: "И. Кашкин и его ученики открыли нам Хемингуэя. Открыли так, как за сто лет до того были открыты в России Диккенс и Теккерей, то есть создана не только традиция *восприятия* этого замечтельного писателя, открыли и русскую разновидность стиля того направления, которое в мировой литературе возглавлял Хемингуэй". ("Мастерство перевода", 1963).

14. В переводе В.Топер, под редакцией М.Лорие. Мария Федоровна Лорие несколько позже присоединилась к коллективу. Вслед за англичанами, русские переводчики предпочли название "Фиеста" трудно произносимому, библейскому "И восходит солнце". Все старые читатели Хемингуэя продолжают называть этот роман „Фиестой".

15. Что мы сказали бы, если бы сборник рассказов Чехова в США назвали бы "Чайка"?

16. "Вопросы литературы", №10, 1962 г.

17. Илья Эренбург в статье "Памяти Хемингуэя" вспоминает: "Редакция "Интернациональной литературы" на вопрос, заданный в середине тридцатых годов, — кто из зарубежных писателей наиболее популярен у нас, получила единодушный ответ: на первом месте — Хемингуэй". "Saturday Review", July 4, 1961.

18. Слова запали во многие умы. Через десять лет после публикации писем Хемингуэя "Литгазета" (2.8.72 г.) поместила письмо читателя из Электростали, который, ссылаясь на Хемингуэя, солидаризируется с ним: любая власть враждебна искусству. Читателю грозно и многословно отвечал Дымшиц.

19. Мальро в это время был в Москве.

20. В 1935 году в "Интеранциональной литературе" на английском языке публикуются рассказы И.Бабеля, М.Зощенко, Вс.Иванова, В.Катаева, Б.Пильняка, Ю.Олеши.

21. В письме от 24-го июля 1937 года. С.Динамов — "в условиях нарушения социалистической законности в период культа личности Сталина был репрессирован. Посмертно реабилитирован". Краткая литературная энциклопедия, т.2, стр. 695.

22. "Вопросы литературы", №10, 1962, с. 182.

23. Матвей Петрович Бронштейн, муж Лидии Корнеевны, физик-теоретик, расстрелянный в 1938 году.

24. Для занимающихся психологией творчества есть загадка: почему Хемингуэй назвал одного из персонажей романа "По ком звонит Колокол" Кашкин?

25. "Литературный критик", 1938, №11.

26. См. письмо А.Платонова к М.Горькому. "Литературное наследство", т.70, стр. 314.

27. "Известия", 3-го июля 1931 г. и "Красная новь", №5-6, 1931.

28. "Литературная газета", 20 декабря 1937 , №68.

29. "Творчество А.Платонова в оценке советской критики 20-х и 30-х гг." в книге "Творчество А.Платонова", Воронеж, 1971.

30. "Литературное обозрение", 1936, №1.

31. КЛЭ, т.5, стр. 422.

32. "Интернациональная литература", №11, 1937.

33. "Резец", №7, 1939.

34. "Искусство и жизнь", №5, 1939.

35. "Литература и движение времени", М., 1978, стр. 243.

36. Перевод из газеты "Дейли Уоркер".

37. Устное сообщение Е.Д. Калашниковой.

38. Рукопись хранится в ЦГАЛИ в фонде журнала "Знамя".

39. И.Эренбург. Люди, годы, жизнь. кн. 6.

40. И.Кашкин. Эрнест Хемингуэй. М., 1966, стр. 205-206.

41. "For Whom the Bell tolls". 1973 г. Военгиз. Отрывки. Книга для чтения. Составитель В.Минаев.

Видимо, учебное пособие для переводчиков.

42. Сам он вспоминает свои слова в том же августе 42-го года, в "очень скверное время". "Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы должны защитить жизнь — в этом признание нашего злосчастного поколения. А если не удастся мне, многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце".

43. Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. М.—Л., 1976, стр. 441.

44. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 1980, т.2, стр. 84.

45. "Литературная газета", 23 июня 1959 г.

46. Отзыв Фаста о Хемингуэе сочувственно цитирует "Правда" в грубо проработочной статье 52-го года: "Писатель, который отошел от жизни, не в состоянии владеть живым языком... Проще

говоря, Хемингуэй пишет плохо..."

47. "Знамя", 1947, №3.

48. "Знамя", 1948, №1.

Не привожу имен авторов, — это в данном случае не важно. Если нечто подобное могли писать в тридцатые годы такие люди как Платонов, Олеша, Кашкин, — то с рядовых литераторов и журналистов спрос меньше.

49. "Правда", 12 декабря 1952 г.

50. "Литературная газета", 23 июля 1959.

51. The Commonwealth, 13 октября 1950 г.

52. "Интернациональную литературу" закрыли вслед за Коминтерном в 1943 году. И в течение двенадцати лет (впервые за полтора столетия) у нас не было специального журнала для публикаций иностранных писателей.

53. С 1963 года и поныне — главный редактор "Литературной газеты".

54. News, №7, апрель 1955. Журнал издавался только для заграницы.

55. 8 сентября 1955 года.

56. — Вы продолжаете любить Хемингуэя?

— Да.

— Я тоже. А вы знаете, что мы с вами в очень дурной компании (из московского разговора шестидесятых годов).

57. Знаю два случая, когда Хемингуэй присутствовал в арестантских писательских делах, — у Г.Гуковского и у Ю.Домбровского. Ю.Домбровский сообщил, как на очной ставке в кабинете следоваеля И.И. Стрелкова давала показания: "Ну, вот, например, он (Домбровский. — Р.О.) восхвалял певца американского империализма Хемингуэя... Он говорит, что все советские писатели ему в подметки не годятся".

Как ясно из письма Ю.Домбровского Сергею Антонову (Самиздат, 1969) Домбровский получил от Стрелковой однотомник "Пятая колонна" и первые тридцать восемь рассказов" в Алма-Ате в 1944 году, в промежутке между двумя арестами.

58. А 1978 г. в программы входили "Прощай, оружие", "Старик и море" и "По ком звонит колокол".

59. "American Literature", vol. 44, 3, 1972.

60. Впрочем, детская литература была своего рода выгородкой, относительно далекой периферией. Там легче было позволить себе чуть больше, чем на главной магистрали.

61. Фаст в 1956 году, после XX съезда, вышел из компартии, рассказав, почему так поступил (сборник "Голый бог").

62. "Смена", декабрь 1970, №23.

63. "Физкультура и спорт", №8, 1961 г.

64. "Литературная газета", 20 ноября 1962 г.

65. Вверху — Дом культуры МВТУ имени Н.Э. Баумана.

Молодежный университет культуры.

Большая фотография Хемингуэя.

Эрнест Хемингуэй.

Среда, 13 декабря 1961 года.

В программе: Вступительное слово о творческом пути Хемингуэя — кандидат филологических наук Р.Д. Орлова.

Воспоминания о встречах с писателем на Кубе.

Ответственный секретарь журнала "Огонек" Генрих Боровик.

Научный сотрудник Института мировой экономики АН СССР, кандидат наук Серго Микоян.

Концертное отделение.

66. "Новый мир", 1962 г., №4.

67. "Soviet Literature".

68. "Известия", 2-го июля 1962 года.

69. Carlos Baker. Hemingway. A Life Story, 1969, p. 456.

70. 18 февраля 1960 г.

71. Тогда СССР еще не подписал конвенции об авторском праве. Так что спрашивать разрешения у Хемингуэя было совсем не обязательно. Тогда говорили, что просили-то разрешения на купюры. И Хемингуэй дал такое разрешение. Документально я этого подтвердить не могу.

72. В мае 1954 г. было специальное решение ЦК "Об ошибках "Нового мира". Твардовского сняли с поста главного редактора. Он вернулся в "Новый мир" в 58-м году, когда был снят К.Симонов за публикацию романа В.Дудинцева "Не хлебом единым".

73. "Литературная газета", 24 августа 1963 г.

74. "На днях будет подписан к печати выходящий в этой же серии (Зарубежный роман XX века". — Р.О.) роман Э.Хемингуэя "По ком звонит колокол", "Литгазета, 17 августа 1963 г.

75. Этот эпизод я рассказывала в 74-м году тогдашнему московскому корреспонденту газеты "Вашингтон Пост" Роберту Кайзеру.

— Кто такая Долорес Ибаррури? — спросил он меня.

Кайзеру едва исполнилось тридцать лет.

76. В издательстве ИЛ (теперь "Прогресс") целая редакция выпускает подобные книги. Так был издан "Новый класс" Джиласа, многие политические социальные исследования. Из произведений художественных я держала в руках только "По ком звонит колокол" и слышала об издании рукописей А.Солженицына. Своеобразный Самиздат для высокой номенклатуры. — "Имиздат".

77. И.Анисимов, тогда директор ИМЛИ, назвал ее "не состоявшийся великий роман XX века", см. "Знамя", №9, 1965.

78. Что намечалось в 1963 г.

79. Том Хемингуэя в этой библиотеке состоит из рассказов, пьесы "Пятая колонна", романа "Прощай, оружие" и повести "Старик и море".

80. "Наука и религия", №3, 1969 г.

81. "Огонек", №29, июль 1969 г.

82. Этой мыслью я обязана Б.Сарнову.

Об экзистенсиальном аспекте первых романов Хемингуэя писал Э.Соловьев.

83. "Пути реализма", 1974, стр. 171.

84. Ф.Гладков — автор производственного романа "Цемент", прославленного в двадцатые годы, изучавшегося тогда в школах и университетах.

85. Портреты Хемингуэя продаются в магазинах подарков. Вместе с галстуками и портсигарами, вместе с фотографиями кинозвезд, Есенина и Маяковского.

Впрочем, книги, значительно подорожав за последнее десятилетие, стали и коммерческой ценностью и деталью "престижного интерьера". Среди многочисленных бескорыстных любителей книг есть и те, кто продолжают (или начинают) читать Хемингуэя. Советские туристы, сходя с теплохода в Гаване, прежде всего просят везти их в дом Хемингуэя. Сколько из них читали его книги?

86. См. статью Ю.Трифонова в "Дружбе народов", №10, 1979.

87. "Литературное обозрение", №2, 1979.

88. Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. "Библиотека поэта". М.—Л., 1965, стр. 562.

Только в русских читательских сердцах могли "рифмоваться" Хемингуэй и Пристли, не сопоставимые по таланту, ни в чем не схожие, кроме свободы публиковать то, что ими написано.

89. "Читая Хемингуэя", В.Каверин, Собр. соч., т.6.

90. "Время и мы", №20, 1977, стр. 123, 126.

91. Купюры были сделаны не только в романе "По ком звонит колокол". "Иметь и не иметь" — роман, пожалуй, самый близкий к советской идеологии. Молодой кубинец, рассказывая об ограблении банка и "попутных" убийствах, замечает: "Цель оправдывает средства. И в России им приходилось так поступать. *Сталин много лет подряд перед революцией был тоже вроде бандита"* (стр 131). В русском же тексте: "Но цель оправдывает средства. В царской России тоже приходилось так поступать", — Собр. соч., т.2, стр. 593.

92. Как уже было сказано, Хемингуэй давал для этого больше оснований, чем другие писатели.

93. М.Туровская. Герои безгеройного времени, стр. 26.

94. Перевод в "Литературной газете", 9 января 1979 г.

Василий Аксенов, СКАЖИ ИЗЮМ
Владимир Войнович, АНТИСОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Сергей Довлатов, НАШИ
Михаил Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Осип Мандельштам, ПРОЗА
Алексей Цветков, ЭДЕМ
Владимир Паперный, КУЛЬТУРА ДВА
Фазиль Искандер, КРОЛИКИ И УДАВЫ
Моисей Наппельбаум, НАШ ВЕК: ФОТОГРАФИИ
Семен Липкин, КОЧЕВОЙ ОГОНЬ
Раиса Орлова, ВОСПОМИНАНИЯ О НЕПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
Виктор Соснора, ИЗБРАННОЕ
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ
Юрий Милославский, ОТ ШУМА ВСАДНИКОВ И СТРЕЛКОВ
Инна Лиснянская, НА ОПУШКЕ СНА
Иосиф Бродский, НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ
Исаак Бабель, КОНАРМИЯ
Бахыт Кенжеев, ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА
Владислав Ходасевич, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Лев Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО
Анатолий Гладилин, БОЛЬШОЙ БЕГОВОЙ ДЕНЬ
Владимир Набоков, ПЕРЕПИСКА С СЕСТРОЙ
Анна Ахматова, ЧЕТКИ
Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ
Александр Введенский, ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Андрей Белый, МАСТЕРСТВО ГОГОЛЯ
Филипп Берман, РЕГИСТРАТОР
Булат Окуджава, 65 ПЕСЕН
М. К. Смит, ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО
Владимир Набоков, ПЬЕСЫ
Саша Соколов, ПАЛИСАНДРИЯ